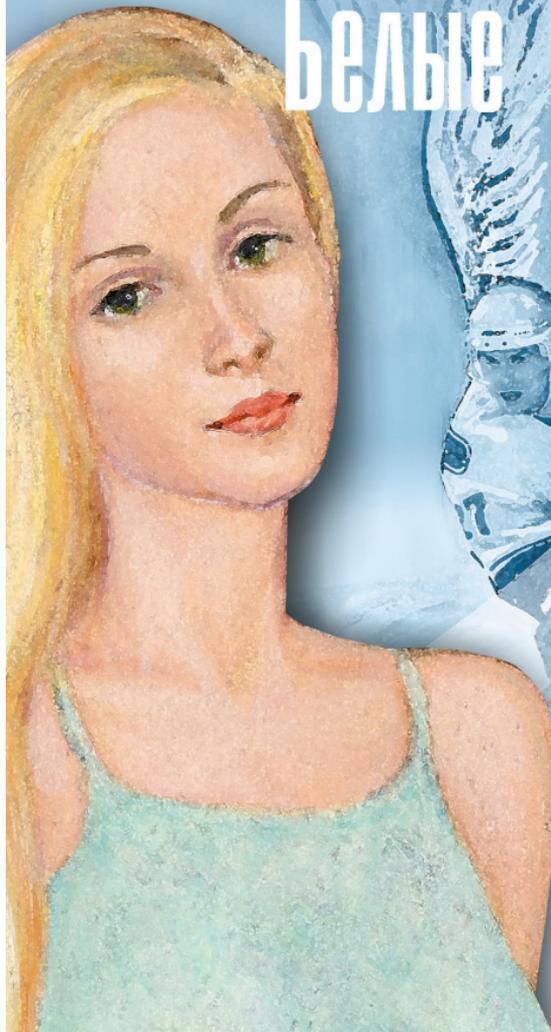


АХАТ МУШИНСКИЙ

Белые Волки



 ТАТАРСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Ахат Хаевич Мушинский

Белые Волки

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=33848078

А. Х. Мушинский. Белые Волки: Татарское книжное издательство;

Казань; 2014

ISBN 978-5-298-02669-7

Аннотация

Роман о хоккеисте-книжнике, поэте-бомже, юной журналистке-провидице и многих других. Это размышление, казалось бы, о бесполезном, с точки зрения прагматизма, – о поэзии, живописи, спорте... Но абстрактная деятельность как раз и отличает человека от животного, как и любовь, вера, дружба, путь познания... Герои романа не только познают близость душ, родственность помыслов, чувство локтя, но и сталкиваются со стеной непонимания, грубой силой стяжательства, завистью, местью...

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	7
1. Такую красавицу заставляешь себя ждать!	7
2. Столкновение	10
Глава вторая	22
3. Буля	22
4. Хоккей нашего детства	29
5. Буль-булевская тройка	35
6. Лом	39
7. Ухабы	44
8. Отец	50
9. Газет она не читала	55
10. Довели до харакири	57
11. Камень пригодился в конце сезона	62
12. Май как точка отсчёта	64
13. Поздравление с разводом	70
14. Короче, Склифосовский!	76
15. Неподписанты	88
Глава третья	93
16. По блату Харламовым не станешь	93
17. Елена	99
18. Чёрная гиря	106

19. Пошли со мной	109
20. Непрошенные гости	113
21. В «Клешне»	118
22. Поцелуй в ночи	123
23. У поэтов отчеств не бывает	126
24. Верста	130
25. Не променяю никогда	137
26. Лучше дворняжку приюти	145
27. Денди лондонский	148
28. О-хо-хо!	153
Глава четвёртая	160
29. У самовара	160
30. Стиль диктует содержание	165
Конец ознакомительного фрагмента.	169

Ахат Мушинский

Белые Волки

© Татарское книжное издательство, 2014

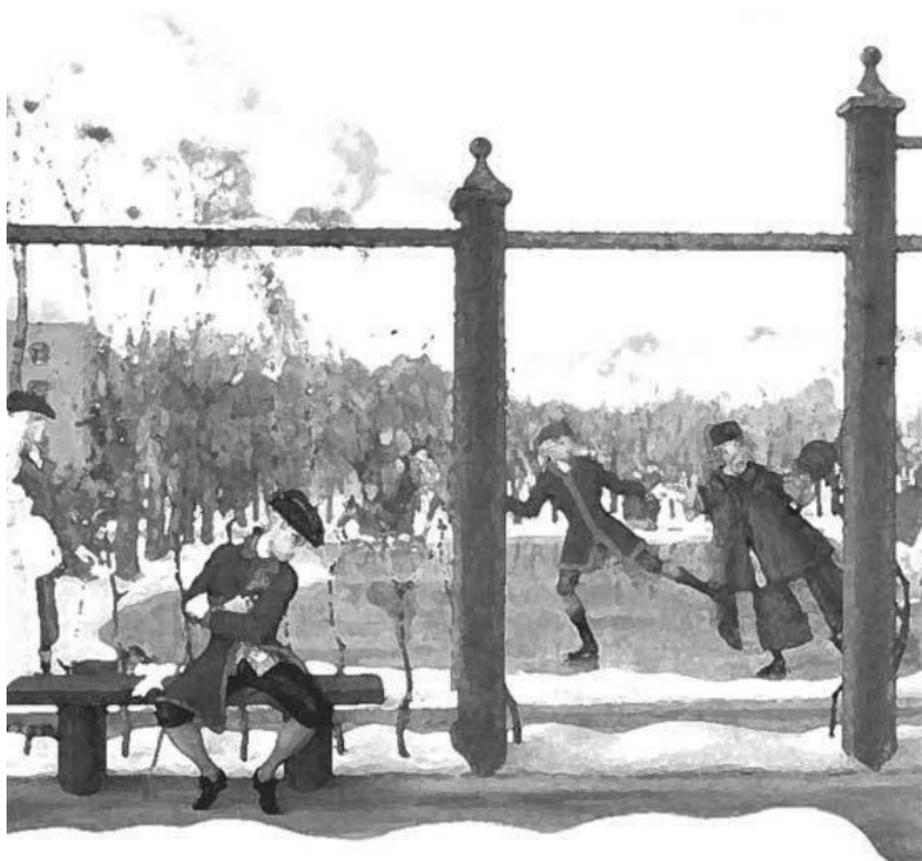
© Мушинский А. Х., 2014

* * *

Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет.

Фридрих Шиллер

Часть первая



Глава первая

1. Такую красавицу заставляешь себя ждать!

Всем временам года он предпочитает зиму, когда всё вокруг становится разом светлее и чище. И человек вместе со всем внешним миром тоже. Вот в январскую стужу бежит прохожий тебе навстречу, бодрый, румяный и выглядывает из своих шарфов и воротников, точно анисовое яблочко из густой листвы. Или, точней, как большой закутанный ребёнок. Хлоп-хлоп глазками. И дыхание его свежо. Зимой он как-то более целомудрен, оторван от плоти грешной, зимой, если хотите, он менее животное и более человек.

Январский день ясен и до звона в заиндевелых проводах морозист. На другой стороне реки, над старой частью города, блёклое солнце смиренно тонет в сизой дымке. Над редкими печными трубами тянутся в небо белые столбы. Мороз добрый, в смысле – большой, крепкий, но не злой, без ветра, и его лихо рассекают гонящие со стороны моста с сухим шипением шин по асфальту борзые, курящиеся выхлопными газами автомобили.

Неторопливо шагает Булатов мимо стайки страждущих на троллейбусной остановке, вдоль строя ёлок, бережно держа-

щих снег на своих крепких лапах и длинными, стрелчатыми тенями указывающих дорогу к издательству. Спешных материалов в номер нет, предстоит посидеть над статьёй, которую заказывали из московского спортивного журнала, и дожидаться нескольких телефонных звонков. Всё это не к спеху, и Равиль Булатович Булатов, в своём кругу просто Буля, вчерашний профессиональный хоккеист, чемпион страны, мира и Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли (точнее, золотого его перстня), а сегодня обозреватель «Спортивной газеты», со вкусом скрипит ботинками по спрессованному сотнями ног и слегка припорошенному январскими жемчугами и бриллиантами насту. Он загодя расстегнул спортивную куртку, распустил шарф, и морозный, жгучий воздух, как в весёлом, распахнутом детстве, бодрит его грудь.

В коридоре редакции, на седьмом этаже, по обыкновению снуют туда-сюда корректоры, редакторы, всяческие штатные и внештатные корры...

– Здравствуйте, Равиль Булатович!

– Здравствуйте!

– Привет, Булатыч!

– Привет!

– Буля, ты ли это? Сто лет тебя не видел!

– Я тебя тоже.

– Равиль...

– Да?

– Быть ли нам опять чемпионами?

– Я не пророк Мухаммед, но думаю...

Вчерашний чемпион, а сегодня волей судьбы журналист быстро привык к новой форме общения, к вопросам по поводу и без и отвечает на них с пониманием, не отмахиваясь, как от назойливых мух, но и не распинаясь, дифференцированно, так сказать.

Его служебная комната (не будем называть её кабинетом) – последняя по коридору редакции. И за семь вёрст до неё Булатова предупредили, что его там ждут. Чинарик предупредил – заместитель главного редактора, плюгавый, раненько облысевший молодой человек. Сказал он это с ехидцей и в то же время с каким-то панибратским пониманием:

– Таковую красавицу, Булатыч, заставляешь себя ждать!

«Кто бы это мог быть? – подумал Булатов. – Ни с кем, вроде бы, не договаривался...» И увидел выступившую из овального закутка, где были пара кресел и журнальный столик для посетителей, и в самом деле красавицу, с рассыпанными по пышной, тёмной шубе белокурыми, вьющимися волосами.

Она серьёзно посмотрела ему в глаза и, перестав перебирать тонкими, музыкальными пальчиками вязаный крупными петлями шарф на груди, неожиданно открыто, по-своему улыбнулась:

– Это вы, значит?

– Да, значит, я, – протяжно промычал Булатов, лихорадочно соображая: «Где же её видел?»

– Ах, да! – хлопнул себя по лбу. – Это вы?!

Она вовсе рассмеялась, журчаще и серебристо, будто ручеёк из-под талого снега пробился, не умея скрыть при этом ровного ряда сахарных зубок.

Теперь и он узнал её. Это была та, с кем он неделю назад познакомился на городском катке, в парке, который жил своей шумной, весёлой жизнью неподалеку от его дома. Только волосы у неё тогда были аккуратно приглажены и заткнуты под вязаную шапочку, да ещё, естественно, этой пышной, вернее, косматой, неизвестной породы шубы на ней не было, а была простенькая для нынешних цветастых времён курточка. И была она тоньше, миниатюрнее, а точнее – меньше, младше, совсем девочка, школьница...

2. Столкновение

В тот парк он раньше не заходил. А неделю назад вдруг так захотелось встать на коньки, что даже ноги зачесались. Не зачесались, а сами по себе заходили ходуном, зашевелились всеми пальцами разом, запросили себе коньки-конёчки, возжелали льда скользкого, в котором он себе в родном Ледовом дворце по окончании своей хоккейной работы раз и навсегда отказал. И он снял с гвоздя стальных братцев своих, вжикнул «молнией» клубной куртки, натянул по самые брови спортивную шапочку и – небывалое дело! – махнул на городской каток.

Шёл лёгкий, искрящийся в свете уличных фонарей январский снег. В парке, на стадионе в лучах прожекторов, освещавших залитое под каток футбольное поле, снежинки были ещё искристее и нарядней и, казалось, что они, кружась, летят снизу вверх. Воскресенье. Народу на катке много. Конечно, не столько, как в былые времена, когда катки были центрами городской вечерней жизни, местом встреч, свиданий, времяпровождения, самоутверждения... Но всё равно многолюдно, что приятно удивило Булатова, ревновавшего коньки к лыжам. А ведь одно время наблюдался сильный отток с катков, в моду вошли лыжи, и люди в одиночку, парами, семьями, коллективами устремились на своих снегоступах за город, в близлежащие леса, а также, конечно, в родной и бескрайний ЦПКиО (Центральный парк культуры и отдыха) с его перелесками, полями, горами, головокружительным трамплином и заснеженной ареной замёрзшей в подножии парка реки. Но время округло, и оно, подкидывая что-то новое (хорошо позабытое...), всё возвращает и возвращает нас по заколдованному кругу обратно.

И Булатов покатился по зеркалу общедоступного катка, который зеркалом, если по правде, трудно было назвать – пупырчат, иссечён коньками, подёрнут снегом, но радости скольжения это не умоляло. Наоборот, придавало действию какую-то первозданность, будто вышел он на лёд впервые, будто вот вернулся в далёкое беспечальное детство и только-только начинает свой путь по жизни. Вся жизнь его бы-

ла связана со льдом, большей частью – искусственным, но первый лёд, который не затерялся в закоулках памяти, был именно таким, не очень гладким, почти таким. Это вспомнилось сразу, с первых шагов по нему, сначала коротких, пробных, затем более протяжённых и плавных в скольжении.

Мимо проплывали парочки, проносились юркие мальчишки, маячили великовозрастные пузатики, по углам катка стар и млад гоняли ватагой шайбу... Неопознанный чемпион неспешно и искусно лавировал во всеобщей своеобразной карусели, но, что поделать, засмотрелся на чёрный каучуковый блинчик, метавшийся между неумелыми клюшками местных виртуозов, и – о боже, надо же такому случиться! – столкнулся...

На груди у чемпиона замерло хрупкое, юное создание в вязаной шапочке, из-под которой стекали и расходились два гладких, белокурых потока. Они разбегались в разные стороны над испуганно моргающими светло-зелёными, как неспелый крыжовник после дождя, глазами. Девушка летела встречным курсом, а у него голова чуть ли не на сто восемьдесят градусов назад – всё от шайбы взглядом оторваться не мог. За мгновение до происшествия почувствовал, каким-то шестым чувством определил, засёк несущийся навстречу объект, но было уже поздно, и он принял его на грудь, подхватил, и даже приподнял. А то, что объектом была *она* – это он как раз за то самое мгновение до соприкосновения и определил, и, казалось, обстоятельно разглядел, и испугаться успел,

и пожалеть её, ведь ангелочек этот на «фигурках» вдребезги об него разбиться могла.

«Куда тебя чёрт в обратную сторону несёт!» – хотел было строго заметить Булатов, но и без того испуганный вид юной «фигуристки» заставил его умерить воспитательный пыл, и он кратко и тихо и даже виновато спросил:

– Не ушиблась?

Этот простой вопрос привел её в себя, и она – не забиваешь ты, забивают тебе – выпалила:

– Отпустите же меня!

До Булатова, наконец, дошло, что он всё ещё держит девицу в руках у себя на груди, и она, бедняжка, тянется ножками ко льду, змеевидно шевелится, пытаясь высвободиться из крепких объятий незнакомца.

– Да, конечно, – повиновался чемпион. – Но куда ты в обратную сторону-то мчалась?

– Не мчалась, а тихонечко ехала, – урезонила она, одёргивая сиреневую курточку с откинутым капюшоном и поправляя два белоснежных крыла из-под шапочки. – В раздевалку.

– Нельзя против течения...

– А по течению далеко, и у меня уж сил не осталось.

– Тебя же могли тут вообще растоптать, пополам разрезать.

– Кроме вас, пожалуй, никому. Растоптать-то, – заметила потерпевшая.

– Спасибо за комплимент, но всё равно надо поосмотри-

тельной... вон как гоняют! Покалечат и фамилии не спросят.

– Лучше б проводили, раз вы такой заботливый. А то и, правда, инвалидом сделают. Видите, еле стою?!

– Поехали. – Булатов взял девицу под локоток и двинулся с ней по встречному для всей ледовой карусели маршруту к раздевалке. Он был выше её на голову, она рядом с ним выглядела маленькой набедокурившей проказницей, вовремя взятой под белы ручки.

Она и точно на коньках стояла кое-как. Ноги её вихляли, ломались, лезвия «фигурок» скользили в невероятных направлениях.

– Да ты носками отталкивайся, носками, – как можно мягче советовал Булатов, – это ведь фигурные коньки, у них вон, впереди там, специальные зазубринки имеются.

– Легко говорить, а у меня ноги устали. Устали, понимаете, и болят. – Она шмыгнула покрасневшим носиком, готовая расплакаться.

– Тогда поставь их вместе, как по стойке смирно, и я покачу вагончиком тебя, только держись, не падай.

С грехом пополам добрались до цели. Плюхнулись на лавку. Булатов вдруг почувствовал, что тоже устал. Казалось бы, пустяк, смешно, отбуксировал лёгонькую, как пёрышко, девчонку до раздевалки, а вот невероятным образом выдохся, даже горло пересохло. Не выдохся, понятно, просто испугался за неё. Больше двадцати лет провёл на льду – хоккейном льду! – пуганный, вроде бы уж, а тут... Надо же так зазевать-

ся!

Она сидела на лавочке, откинувшись к стене, вытянув ноги в новеньких, без одной чёрной царапинки коньках размером для Дюймовочки, потирая ладошкой плечо.

– Всё-таки ушиблась?

– Да нет, чепуха. А грудь у вас бронированная или бронезилет носите? Она испытующе посмотрела на незнакомца, и в юных зелёных глазах её вспыхнула лукавая искорка:

– А вас как звать?

– Равиль, вообще-то.

– Почему «вообще-то»?

– Потому что меня разные люди по-разному зовут. Тебя-то как звать-величать?

– Меня – Лили, – назвала она своё имя с ударением на последнем слог.

– Странное имя.

– Вообще-то по паспорту я – Лилия, но мне больше нравится Лили.

– Почему?.. – не понял Булатов. – Лилия – красивое имя.

– Банальное и какое-то, не знаю, серость олицетворяющее.

– Что ж, твоё право... – Булатов встал. – Пойду, Лили, кофе принесу. – И, тяжело ступая по скрипящим половицам раздевалки, пошёл к буфету. Она проводила его взглядом до самого конца коридора, где на пластиковой изгороди красовалась табличка «Кафетерий». Девушка заметила,

что не одна она следит за ним. Краснощёкий, чубатый очкарик на лавочке напротив что-то шёпотом объяснял своему дружку, кивая на её нового знакомого. Интерес к его персоне проявила и гурьба мальчишек, до этого горячо о чём-то спорившая и никого вокруг себя не замечавшая.

Вернулся Булатов с двумя разовыми стаканчиками чая и обильно обсыпанными ванильной пудрой крендельками.

– Кофе нет там, – доложил он досадливо.

– Чай – тоже отлично, – утешила она своего кавалера поневоле и ещё раз окинула его взглядом. Начиная с громоздких, благородно поблёскивавших коньков с выпуклым номером «27» на щиколотках ботинок и кончая синей, тонкой фабричной вязки шапочкой, на которой красовалась маленькая белая эмблемка с мордочкой волка, – всё на нём говорило о его принадлежности к популярнейшему хоккейному клубу. Уж в чём в чём, а в этом (то есть во всём, что касалось этого клуба) с некоторых пор она стала разбираться досконально. И потом... Это красивое, тонко очерченное лицо... Она наложила его в воображении на то, которое привлекло её в прошлом хоккейном сезоне на площадке Ледового дворца, и оно совпало один к одному.

– Классный чай! – пригубив стаканчик, похвалила она буфетные помои.

– Главное, горячий, – согласился он. – С мороза хорошо. Очкарик напротив них не спускал с её сотрапезника глаз.

– Равиль... – задумчиво произнесла Лили.

– Что? – с готовностью откликнулся Булатов.

– Равиль, Равиль... – будто взвешивая в сознании его имя, помедлила она, отпила воробыным глоточком чаю и, вскинув изумрудные, с хитринкой глаза, спросила:

– А вы случаем не Равиль Булатов?

– Да-а, точно. А ты случаем не из ЦРУ?

– Такие организации мне не по душе.

– А какие по душе? Клуб болельщиков?

– Да ну... Детский сад! – Она поставила недопитый стаканчик на лавку и в свою очередь спросила: – А где вы теперь? В прошлом году же вроде бы оставили хоккей.

– Теперь я на катке.

– Это я вижу.

Взгляд её сделался серьёзен, вырос, и Булатов, не спрятавшись за очередную шутку, сказал:

– Хоккей – это, конечно, целая жизнь, но, оказывается, ещё не вся.

Она подождала, может быть, он ещё что-то скажет и, не дождавшись, просветлённо вздохнула:

– А я так полюбила хоккей! Два года назад мой старший брат на свою голову сводил меня в Ледовый дворец... И всё! Теперь ни одной игры не пропускаю. Родители ругаются. Даже бабушка... Сама обожает хоккей. А бурчит: могла бы игру-другую и по телевизору посмотреть. Сидит дома, по телеку всё смотрит, вот и меня хочет рядом с собой усадить. Но разве в ящике – это хоккей?!

– Нет, разумеется. Но телевидение даёт повторы, комментирует, информирует... – Булатов перевёл дыхание и, на мгновение задумавшись, произнёс: – Значит, прошлый сезон наш видела...

– А как же! Вы там лучшим бомбардиром стали.

– Было дело.

– Теперь опять на льду... Поздравляю!

– На каком?

– На сегодняшнем.

– Ах, да...

Посмеялись. Помолчали.

Она тоже вслед за Булатовым принялась за крендель и, молча разделавшись с ним и допив чай, сказала:

– Пойдёмте.

– Куда?

– Кататься.

– Погоди. У тебя же ноги устали и болят.

– А всё прошло. Отдохнула. А этот чай – это просто какой-то чудесный допинг!

– Всё равно погоди. – Булатов кивнул на её теперь уже пружинисто поджатые ноги. – Надо коньки перешнуровать. Не подтянуты они у тебя, от этого обычно и ломит ноги.

– Правда?

– Конечно.

– Я-то думала!

– Тут не надо думать. – Он опустился на корточки и,

невзирая на протестующие жесты, стал ловко пеленать белые, миниатюрные ботиночки «фигурок» своей новой и минутой назад терпевшей бедствие знакомой. Она послушно сидела и говорила:

– Я вот так просто каталась на коньках и то чуть без ног не осталась. А как же на хоккейном льду? Ведь там ещё и играть надо – разгоняться, тормозить, шайбу бросать, толкаться. И это всё, если вдуматься, на каких-то искусственно приделанных к ногам железках!

– Так многие на них лучше, чем на ногах стоят, – отвечал Булатов.

Опять выкатились на лёд.

Он взял её поначалу за руку, потом за обе, крест-накрест, так, что она прикрепилась к нему креплением жёстким (откуда у него взялось это? сам никогда так не катался), и они слаженно покатали по большому кругу катка, и ноги у неё уж больше не вихляли и не болели, а шли ровно, синхронно, с его, чемпионскими.

Они сделали два круга. Отдохнули. Опять прокатились. Лили расхрабрилась и один круг совершила самостоятельно, без его поддержки.

Низвергалась из громкоговорителей бодрящая музыка, возбуждённые, весёлые лица вокруг мелькали-чередовались со сказочной калейдоскопичностью. Спустился время из запрожекторной небесной тьмы повалил густой, хлопьями снег.

Обстановка на катке быстро превращалась в лыжную, свет

в глазах застила белая пелена, «железо острое» по самые ботинки потонуло в снежном пуху.

– Зато на коньках держаться легче! – смеялась Лили. – Не держите, не держите меня!

– Так я тебя в этом снегу потеряю, – тоже почему-то смеялся в ответ Булатов. Или это снегопад так веселил, или переменчивый, непредсказуемый характер зимы, которую он преданно любил, с туманного младенчества – и буранную, и морозно-колючую, и мягонькую, с капелью – любую! Он и теперь, во взрослой жизни, не переставал радоваться и удивляться ей, плодovitой и щедрой, точно ребёнок, на которого из-за облака весело сыплет снегом белобородый и всем известный вечный дед.

Таки потерял он её. На Лили, самостоятельно скользившую по заснеженному льду в метре от него, с визгом и смехом налетела стайка подруг, Булатов притормозил, но встреча была такой оживлённой и радостной, что дожидаться её окончания тут, рядом, было неловко, и он пошёл на новый круг и тоже попал в объятия, уже своих друзей, во главе с Маратом Салминым, другом детства, однокашником, самым большим по жизни корешом, то бишь мной.

Завидев величавую поступь Булатова, я вспомнил известную картину Генри Рейбёрна, на которой изображён джентльмен в шляпе и сюртуке, степенно, руки крест-накрест на груди, катящийся по озёрному льду, и приветствовал друга витиеватым названием этой картины:

– О-о! – воскликнул я. – Пастырь Роберт Уолкер, катающийся на коньках по льду озера Даддингстон!

Одно время журнальная репродукция с этой картины висела над его письменным столом в старой квартире нашего общего бревенчатого дома, и он хорошо знал её. Потом я эту репродукцию искал – и в художественных энциклопедиях, и во всевозможных сборниках, но не нашёл. Не нашёл её и Булатов у себя – пропала после переезда на новую квартиру.

Шутливое моё приветствие он пропустил мимо ушей, ответив просто и тепло:

– Привет!

Коллективно пообщавшись, мы с ним оторвались от друзей-приятелей, проехали ещё круг, при этом он безуспешно искал кого-то глазами в разыгравшейся не на шутку снежной круговерти, и мы потом, переобувшись и спрятав коньки в сумки, завернули с ним в какую-то кафешку неподалёку от парка.

– По стопочке? – предложил я ему.

– Ты же знаешь...

– Брось, режим тебе ни к чему теперь!

И мы выпили и многое, многое вспомнили из нашей далёкой и близкой для нас обеих жизни.

Глава вторая

Но дело в том, что я считаю хорошую литературу такой же частью окружающего мира, как леса, горы, моря, облака, звёзды, реки, города, восходы, закаты, исторические события, страсти и так далее, то есть материалом для постройки своих произведений.

Валентин Катаев

3. Буля

Кто-то коллекционирует марки, кто-то – пивные банки, а вот мой друг, чемпион мира по хоккею с шайбой Равиль Булатов, прославившийся в команде «Белых Волков» как просто Буля, как просто правый крайний нападающий и забивала, как совсем не просто – лучший бомбардир и снайпер Лиги Сильнейших, как, в конце концов, мотор или, точнее, душа команды, её капитан, всю свою жизнь на удивление многим собирает книги. Я думаю, если бы он не стал хоккеистом, то обязательно сделался бы каким-нибудь учёным-литературоведом, а может, и писателем. В итоге – гибрид. Спортивный журналист. Какие только фортели не выкидывает судьба!

У него дома огромная библиотека, которую Булатов со-

бирал ещё в те времена, когда книги художественной литературы были великим дефицитом. Таскал он их домой с рачительностью зверька, заполнявшего кормом свои кладовые на зиму. Даже из-за границы вёз чемоданы книг, из-за которых у него были постоянные неприятности на таможне. В те времена ведь немало авторов были под запретом. И не только в литературе. Подобная страсть, как выяснилось, создавала в своё время немалые проблемы и в жизни футболиста, форварда московского «Спартака» и сборной страны, а также страстного меломана Галимзяна Хусаинова, по кличке «Гиля», кстати, земляка нашего. Капитан «Спартака» предпочтение в музыке отдавал джазу. А помните, были времена, когда говорили: кто любит джаз, тот Родину продаст? На границе у него отбирали неблагонадёжные грампластинки, а вот у Равиля Булатова – книги. Кстати, я ещё одного спортсмена-собирателя книг знал, футболиста самарских (тогда ещё куйбышевских) «Крыльев Советов» Равиля Аряпова. У него была роскошная по тем временам библиотека всемирной литературы. Смотрите-ка, тоже Равиль ведь, а?!

Моего Равильку и на «Гнилое озеро» приглашали. Собирались, внушали, устраивали... «Гнилое озеро» – это у нас значит месторасположение известных компетентных органов. Там они, на озёрной набережной, до сих пор располагаются. Правда, погорели разок, пожар напомнил им и всей их железной системе, что они всё-таки на земле нашей грешной от простых смертных мало чем отличаются. Булатова к себе

до пожара таскали, когда они ещё непогрешимыми были. Но действия на него это не возымело. Упрям мой друг отроду. Только осторожнее стал с возрастом и молчаливее.

Времена нынче другие. Бери любое художественное изделие не хочу! И никакого запрета. Многих это остудило – и библиофилов, и меломанов... Неинтересно стало.

Недаром один наш великий острослов говорил: дефицит – движущая сила прогресса. Он имел в виду прогресс ещё того общества, в котором имел счастье жить и которое сам не пережил. Но в философском плане дефицит – нечто крайне редкое, остро не хватающее обществу – всегда останется чем-то безусловно передовым, лидирующим, уникальным, если, повторяю, говорить о нём не только с позиции торгового прилавка.

В своих книгах Булатов искал ответы на многочисленные вопросы, которые ставила перед ним жизнь. Быть может, не совсем обязательно ответы, но, во всяком случае, созвучные настроению и душе мысли – это точно. Однажды в домашней игре судья не засчитал две его верных шайбы в ворота противника. И «волки» тогда проиграли. Вечером мы сидели у него дома, и он как-то произвольно извлёк из стройного ряда книг совсем невзрачный томик, вроде бы даже наугад распахнул его и прочёл вслух:

Арбитр совпадает с палачом

Ещё интимней, чем замок с ключом...

Какие комментарии? Рой мыслей пронёсся в моей чугунной после штормового хоккея голове. Я всю эту судейскую несправедливость видел, орал там громче неистовствовавших трибун. Но тут, у него, промолчал. Бывало, он зачитывал мне небольшие отрезки текстов – то просвещал, то делился радостью новых книжных приобретений, а то выражал своё настроение или подкреплял мысль тем или иным стихотворением, тем или иным прозаическим куском. Я люблю его слушать, вести с ним неспешные беседы. Порой, когда мы бываем у меня в мастерской, я поддерживаю разговор, не выпуская из рук кисти и палитры. Он не обижается и не стесняется. Отвлекать не стесняется. Мы же друзья с детства. Правда, с перерывами. Вот и последний наш перерыв затянулся, пока не встретились на катке в парке. Поэтому порой и пишу о нём в прошедшем времени: зачитывал, говорил, делился...

Как-то у меня в мастерской, буквально за год до нашей встречи на катке, он прочёл мне:

Всё раскидано, растрчено —
горы света и добра,
чтоб с клюкой стоять у паперти
и с сумою у двора.

Не стенаю и не плачусь я.
Вон как, листья раскидав,

сохнет клён
и в соснах прячется,
дровосека увидав.

Что примечательно, произнёс стихотворение это он наизусть. Примечательно, но не удивительно для меня. Я протёр промасленной тряпкой рабочие кисти и сказал:

– Во-первых, ты не у паперти с протянутой рукой стоишь, а всё ещё по ледовой площадке как угорелый носишься. Во-вторых, листья свои ещё не раскидал и в полном древесном соку находишься... Не спорю, в жизни всякое бывает. Но вот что скажу. Тебе эта вещь, чую, понравилась, ты же её вон наизусть знаешь. А что это значит? Это значит, что душа твоя её приняла, усвоила, то есть, понимаешь, сделала своей. В начале было слово... Смотри, и в самом деле найдётся на тебя дровосек. При твоей-то профессии...

В ответ он лишь плечами пожал:

– Да я просто так вспомнил, на себя не проецируя.

Потом мы с ним долго не виделись.

Поэзией – этим своеобразным изъяснением чувств и мыслей с помощью ритмики, рифм, образов и не всегда понятного слога – не все очарованы. Говорят, на земле ею увлекаются не более четырёх процентов людей. И уж ничего удивительного, что в команде «Белых Волков» и, вероятно, во всём отечественном хоккее настоящих любителей изящной словесности – абсолютный нуль, или, как говорят в матема-

тике, полнейшее отсутствие величины. Так что, Булю, нападающего Равиля Булатова, в этом отношении можно было бы, скорей всего, не белым волком назвать, а белой вороной. Можно было бы, если бы он в главном своём деле – в игре – был позаурядней, поприземлённей, что ли.

Но беда для остроумцев была в том, что он был хоккеистом от Всевышнего. Он не бегал по ледовой площадке на коньках – летал, порхал, как бабочка. И его забитые шайбы были не просто красивы, но по большому счёту поэтичны. Его самого можно было сравнить с поэтом, если принять хоккей за своего рода поэзию.

И внешностью он, начиная с хрупкого лица студента-первокурсника, с худощавой фигуры и кончая тонкими, аристократическими пальцами, мало походил на хоккеиста. Разве что, облачившись в свои доспехи. Да, тогда он преображался: плечи округлялись, грудь становилась богатырской, утончённые пальцы прятались в огромных перчатках-крагах, и лишь тёмно-каштановые колечки, своеобразно выбивавшиеся из-под шлема, напоминали о его штатской сущности.

Преображался на льду он не только внешне. Заполучив шайбу, всё его тело вместе и отдельно, то есть каждая его часть, каждая мышца, каждый позвонок и, кажется, даже фаланга мизинца, намертво стянутая в коньке, начинала двигаться, играть, и Буля летел на крутом вираже к воротам противника, и у него за спиной вырастали и бились невидимые и неслышные для непосвящённых крылья.

Особенно виртуозен бывал, когда оказывался с глазу на глаз с вратарём соперника. Обманным, хитроумным движением клюшки, а то и всего самого целиком, он клал бедного голкипера в один угол ворот, а шайбу посылал в другой, чаще – в «паутинку», то есть в «девятку», то есть поднимал её под планочку у самой крестовины, хотя крестовины как таковой ни у футбольных, ни тем более у хоккейных ворот нет. Мало ли в жизни что-то повторяем-повторяем, чего на самом деле не существует.

Случайно встретив его на улице или в каком-нибудь магазине, чаще всего в книжном, листаящего своими тонкими, трепетными пальцами какую-нибудь новинку или наоборот – полуистлевшую букинистическую ветхость, разве можно было предположить, что перед тобой тот самый матёрый волк, легендарный хоккейный бомбометатель, острие команды-чемпиона, который мог, как д'Артаньян сквозь гущу воинов кардинала де Ришелье, пробиться через все защитные построения противника, как ниточка сквозь игольное ушко, проскользнуть в одну единственно возможную щёлочку между гренадером-защитником и неласковым бортом.

Но для меня, хорошо его знавшего, Булатов с книгой в руках так же естественен, как и с хоккейной клюшкой. Почему порой я называю лучшего своего друга не по имени? Да потому что это школьная привычка. Учителя же отвечать к доске вызывают пофамильно. Вот и пошли-поехали фамилии взамен именам. Ну, так это у нас – больше в шутку.

Мы были с ним родом из одного двора, и я помню его в кроличьей шапке, сбитой на затылок, с клюшкой в одной руке и книгой в другой. Да, он умудрялся читать на ходу, он читал везде и всюду – у него даже были для этого вязанные перчатки, как раньше у кондукторов зимой, без большого и указательного пальцев.

Первой его книгой был «Робинзон Крузо». Я имею в виду из толстых, солидных, действенных, которая на него так подействовала, что он собрался и в одиночку пустился в путешествие вниз по Волге (я в то лето был у бабушки в деревне). Далеко на отцовской лодке уйти ему не дали. Изловили, как только он вышел из устья сонного притока на большую волжскую воду. Тогда-то отец и отвёл его к своему другу – тренеру детской хоккейной команды, организовав тем самым здоровый противовес неумёмному чтению сына, хотя сам имел к литературе прямую причастность, был главным редактором книжного издательства. Такие в жизни противоречия.

4. Хоккей нашего детства

Друг мой обожает зиму. Быть может, полюбил её вместе с хоккеем, который вошёл в его жизнь, с одной стороны, совершенно естественно – мы же все вместе, всей детворой, гоняли шайбу в самодельной «коробке» школьного двора; с другой стороны – с посторонней помощью: всё-таки в хоккейную секцию, в спортивную профессию его привели.

На тренировки он ездил почти через весь город, на трамвае, затем с пересадкой – на троллейбусе. Сколько ему было тогда – лет восемь? По нынешним меркам уже переросток. Сейчас, если имеются серьёзные намерения, малыша ставят на коньки в пятилетнем возрасте, а то и раньше.

Тренироваться начинал он по возрастной категории мальчиков ещё под открытым небом, на заводском стадионе, а затем, юношей, перебрался на искусственный лёд. Ледовый дворец был к дому поближе, зато другая прелесть – из-за нехватки льда на тренировки приезжать туда следовало к шести часам утра.

Ещё темно, ещё и окна в домах не зажглись, а он уже со своим огромным рюкзаком через плечо и клюшкой под мышкой чешет на тренировку, обходя всегда сердитого нашего дворника, подбирающего ночной снежный ковёр, и здороваясь с редкими поутру дворняжками.

Мы жили с ним в районе старого города, известном всему честному народу своей неколебимой шпанской славой. Удивительно, как мы уцелели тогда от мест не столь отдалённых? Да и отдалённых тоже. Кого убили, кто сам себя порешил, кто элементарно спился... А мы с ним не только выжили, но и, как говорится, в люди выбились. Равильчик вот стал классным, известным всему миру хоккеистом, а я – не менее известным живописцем, правда, в несравненно узком кругу людей.

Своим главным делом каждый из нас начал заниматься

примерно в одно и то же время. Он бегал на тренировки, я же – в художественную школу, на занятия. В общеобразовательной школе, в которой мы учились с ним шесть лет в одном классе, мне приходилось демонстрировать свои, можно сказать, профессиональные навыки беспрестанно: рисовал стенгазеты, плакаты, оформлял всевозможные стенды... А он, как-то так получилось, некоторое время оставался в тени – то ли на тренировках выматывался, то ли всё те же книги отвлекали его от школьного двора – не знаю, не помню. Только однажды директор протрубил: надо собрать сборную команду школы и выступить в районном хоккейном турнире. Все классы, с первого по десятый, одновременно стали напоминать один большой растревоженный улей: обсуждали кандидатов в сборную. Отбор был демократичный, но всё равно жёсткий. А вот Булатова каким-то образом чуть было не позабыли. Верней, не то, чтоб позабыли, его просто несколько дней не было на уроках, гонял шайбу на каком-то турнире в другом городе. «Профессионала» разве позабудешь? Зато появлялась завидная вакансия в нападении. Вот ведь как. Уже тогда, в детстве, шла борьба за место под солнцем.

И вот мы, краса и гордость «Красной школы» (она у нас была из красного кирпича), выкатываемся на ледовую площадку «Железки» (школы у железной дороги), на лёд лучшей хоккейной коробки округи. Созвездие ламп отражается на блестящем, зеркальном льду (не то, что у нас на школьном дворе – два слепящих и в то же время не освещавших

всю площадку прожектора), настоящие высокие бортики, закругляясь, охватывают ледовое, расчерченное разноцветной краской поле предстоящего хоккейного сражения. А за бортами море шумных и счастливых болельщиков, миллионы любопытных пылающих глаз мальчишек и девчонок (ну, может, конечно, не совсем миллионы, но мне, по крайней мере, так казалось).

И мы выкатываемся. Без него. Играем. Но куда подевались прыть, гонор, да и простое умение стоять на коньках?! Нас бесцеремонно и красиво размазывают по бортам, обкатывают по вдруг сделавшемуся таким огромным ледовому полю. Шайба липнет к их клюшкам, а от наших отскакивает, точно элементарная частица с одноимённым зарядом. Наш непробиваемый кипер, как рыбак сачком из зыбки рыбу, выгребает клюшкой из ворот шайбу за шайбой.

0:1! 0:2! 0:3!

А хозяева площадки в ядовито-жёлтых хоккейных свитерах (фуфайках, джемперах – все названия этого вида хоккейной одежды, если быть точным, неправильные) усиливают и усиливают пресс. «Железка» она и есть «Железка».

– Же-лез-ка! – скандируют местные горластые болельщики. Наши хмуро помалкивают.

И тут появляется он. В сказочно белоснежном, бликующем шлеме, огромных крагах, в весело поблёскивающих мастерских конёчках-«петушках». На нём фирменный свитер (остановимся на свитере), красно-бело-зелёный, с огром-

ным, во всю спину номером «17», при нём все остальные причитающиеся настоящему хоккеисту причиндалы.

Здесь надо пояснить. Тогда школьные, дворовые и прочие подобные команды в надлежащей хоккейной форме ещё не играли. Гоняли шайбу кто в чём горазд. «Железка» выступала в более-менее единообразной одежке. Но то была сильнейшая команда городского района, то была школа, над которой шефствовали железнодорожники. А мы... А нам можно было и так... Разношёрстные против «форменных» – это тоже своего рода форма.

И тут, представляете себе, Равилька Булатов из 6 «А» класса в полной экипировке. Под номером «17». Мы все без номеров, а он, как Харламов, семнадцатый. (Сразу замечу, во взрослом хоккее свой номер он поменял.)

Подробности его опоздания на матч века не так важны. Главное то, что он появился в самый тяжёлый, самый ответственный момент.

Он спрыгнул с бортика на лёд, заменив запыхавшегося одноклассника Колчака, перехватил шайбу и...

И понеслась душа в рай.

До конца первого периода наш Харламов успел отквитать две шайбы. А во втором периоде игра, можно сказать, была уже сделана. Он брал шайбу и элегантно, как опытный водитель, объезжал рослых «чайников»-тихоходов «Железки», ставил, в прямом смысле слова, на колени вратаря и отправлял чёрненькую блестящую рыбку трепыхаться в невод его

ворот.

И всё это он вытворял на высоких, головокружительных скоростях. Бывало, терял шайбу (всё-таки «Железка» пыталась сопротивляться), но опять подхватывал её и, как заведённый, опять начинал выписывать на льду узоры. Он напоминал какую-то механическую игрушку, машину с бесперебойным моторчиком внутри.

Какой у него тогда был «профессиональный» стаж – несколько лет секции при команде мастеров? Но преимущество хоккейного школяра, старательного подмастерья над всеми нами, самоучками, было очевидным и подавляющим.

Всё-таки школа, профессиональный подход что в хоккее, что в живописи, сужу исключительно на нашем с ним примере, разительно отличаются от стихийного самоучения и самотворчества, как дикие кислые яблоки от сортовых ранток, грушовок, наливок...

Мой друг всегда и во всём был прилежным мальчиком. У меня сохранилась любительская фотокарточка, на которой он запечатлён во время тренировки. Стоит на льду перед тренером, как солдат, вытянувшись во фронт, весь из себя внимание и прилежание. Ещё бы клюшку ото льда оторвал да взял, как винтовку, на плечо!

Понятно, в хоккее одним прилежанием не возьмёшь. Для штурма хоккейных высот нужно ещё что-то. Какая-то искра божья. И она, эта искра, в нём была. Впервые я узрел её именно в том далёком ледовом поединке на «Железке».

А «Железка» тем временем сопротивлялась. Но тут и у нас, самоучек, игра пошла, и мы, оказывается, могли кору на лыко драть. Одну шайбу и я забил. Булатов выложил её, подарочную, на треснутый крюк моей клюшки, мне оставалось лишь «метёлочкой» домести в ворота.

О, какое это радостное, возвышенное и гордое чувство, когда ты ставишь завершающую точку в многосложных устремлениях своей команды!

О, это право победоносно вскинуть обе руки вверх, когда хоккейная клюшка над головой как скипетр, как знак царственной власти!

Мы выиграли тогда крупно и мощно. Львиная доля шайб была на счету Равильки Булатова. Плюс несколько голевых передач. Плюс тот победный дух, которым он заразил нашу команду, когда мы были уже по сути дела сломлены.

Иные далёкие события помнятся лучше, чем те, что были с тобою вчера.

К весне мы разошлись с ним по разным учебным заведениям: он уже не мог без профессиональной хоккейной клюшки, а я – без кисти и красок.

5. Буль-булевская тройка

Клички в спорте, особенно в спортивных играх, обычно бывают краткие, меткие, что-то обозначающие или подразумевающие. А что обозначает или подразумевает «Буля»?

Ни то ни сё – производное от первых букв фамилии. Играл вот в команде «волков» Гизатуллин. Можно было бы его кратко звать «Гизя», так во время игры и кликали: «Гизя, пас!» Но нужен же смысл, и вот в кулуарах он уже «Газон». Согласитесь, это тебе не «Гизя», не «Буля» – «Газон»! По звучанию чуть ли не «фон барон». Хотя «Буля» несёт в себе какой-то подсознательный смысл, какой-то знак доброты, свойской близости. А может быть, мне так просто кажется, ведь он мой друг, всё-таки друзей и любимых всегда наделяешь какими-то дополнительными светлыми качествами характера.

Совсем другое дело «Муха» и «Каша». Звучит просто, ясно, без напряжения подкорки. Понятно, это тоже производное от фамилий Мухин, Кашапов. (Они, Саша Мухин и Руслан Кашапов, пришли в команду «волков», когда Буле было уже тридцать. Молодые, дерзкие, оба коренные, наши. Каша, правда, не совсем коренной, родился в Вятских Полянах, но в школе, хоккейной школе, учился у нас.) Муха и своими мощами соответствовал прозвищу. Вот, что значит, со смыслом. Маленький, юркий, весёлый, точно майская муха, залетевшая в домик на даче во время роскошного, ароматного обеда. Не возьмёшь его силой, не придавишь массой – проскользнёт, увернётся и весело полетит дальше к своей цели, жужжа коньками, как та самая муха крыльями.

«Каша» – по смыслу от обратного. Но всё равно, какое-никакое, но содержание уже есть. Каша-вятич – боец под два

метра ростом и с центнер весом. Таранного типа центр-форвард, любую оборону продавит, и к себе в защиту поспеет, стеной встанет, мышь не проскочит. Но всё-таки даже для хоккеиста полноват. Однажды, когда он зазевался на тренировке, новый главный тренер закричал на него: «Что спишь на ходу, каша в фуфайке?!» Другой бы обиделся. Этот нет. Ему... в глаза, а он – всё божья роса.

Но на льду под своим шестнадцатым номером Каша превращается в кремень. На вбрасывании шайбу у него не отберёшь, с «пяточка» его не вытолкнешь. А если запрещёнными приёмами воспользуешься, то непременно сдачи получишь. Какая бы драчка на площадке ни завязалась, Каша тут как тут. Первым в бою за своих друзей-товарищей. Его и до конца игры удаляли, свой же главный тренер штрафовал, бил рублём по карману – бесполезно. Скамейка штрафников для него была не менее родной, чем общекомандная. Как только в игровой круговерти он их не путал?! На день рождения ребята преподнесли ему боксёрские перчатки и грушу. Во время тренировки вручили, торжественно, под его любимый музон, грянувший из всех динамиков Ледового дворца. Боксируй, Каша-вятич, на здоровье, но только не на хоккейной площадке!

Вообще-то, на мой взгляд, в любой приличной команде должен быть молотобоец, который может отмолотить любого, кто неправым и грубым образом посмеет покушаться на честь его родной дружины.

Но тренер, но главный тренер «волков» (уже, кстати сказать, к тому времени чемпионов) подобного рода эмоциональных взрывов терпеть не мог. Он вообще многого не терпел. Но об этом позже.

Так вот, в тот памятный год, когда «волки» наконец стали чемпионами, эти два новобранца с Булей и склепали самое зубастое звено команды. Главный тренер будущих чемпионов, мудрый и прозорливый Дрозд – Дроздов Александр Ильич – сделал из капитана ещё и своеобразного дядьку при этих двух молодых волках-переейрках. Особой прыти, вернее, результатов от них первоначально не ждали, «переейркам» надо было прижиться, освоиться, да и выдавшему виды Буле в дядьках – не потерять лидерства (в дочемпионском сезоне он был самым результативным снайпером в команде). Но требовали уровня.

И новоиспечённая связка не подкачала. Она сразу взяла быка за рога. Хоть и называлась их тройка второй, но по забитым шайбам к концу сезона она была первой и с заметным отрывом опережала всех не только у себя в команде, но и в Лиге. Опять самым метким бомбометателем стал Буля. За ним следом, уступая всего две шайбы, шёл «желторотый» Муха. Каша тоже отличился. У него было два абсолютных рекорда: по голевым передачам и штрафному времени. За первое достижение Кашу хвалили, за второе поругивали, посмеивались, но, в общем-то, к этому относились с пониманием. Дрозд питал к подопечным подлинно отцовские (на-

сколько это позволяла тренерская мантия) чувства и к шалостям-проступкам своих питомцев проявлял неистощимое терпение. А быть может, у него это было вовсе и не терпение, так как, быть может, для него это были не проступки.

Если быть объективным, игра в том сказочном году сверкала у всей команды. Команда – это же не одно звено и даже не одна пятёрка и вратарь. Но буль-булевской тройке, как называли её болельщики, точней – пятёрке, подфартило особо. В том, последнем дроздовском сезоне, она в команде оказалась на белом коне, или, как писали в газетах, на золотом коньке.

Было, было...

Во взрослом хоккее, ещё раз замечу, Булатов свой номер сменил. На двадцать седьмой.

6. Лом

*Да не выведу ни о ком и ни о чём
неосмотрительного мнения.*

Из молитвы Н. В. Гоголя

Что было, то было – быльём поросло.

Свой истёкший контракт с «Белыми Волками» Дрозд не продлил. Сказал, что песню всегда надо заканчивать на самой её высокой ноте. Да и возраст, да и усталость... Как ни уговаривали, ушёл, укатил к себе в Первопрестольную. Он был из старой, знаменитой гвардии хоккеистов, которая за-

ставляла трепетать перед собой весь хоккейный мир, и у которой были свои устои, свои правила жизни.

Да, они у них были. К тому же Дрозд попивал, раз даже выездные игры пропустил. Но команду к чемпионству привёл. Так вот, на прощание он шепнул Буле: «Сколько можно – режим, режим?! Пора и поясок отпустив пожить».

Его приглашали в Высшую хоккейную школу, готовить новых тренеров. Опыт у Дрозда был богатый, педагогических способностей – через край.

– А что, Булатыч, буду профессором. После своей карьеры на льду приезжай, подучишься малость и будем вместе ковать хоккейных полководцев, а то и сам ледовые полки за собой поведёшь, у тебя получится, точно тебе говорю.

Долго искали замену Дрозду. Хоть и говорят, свято место пусто не бывает, но на чемпионский трон нужен был человек, который этот трон удержал бы. Безоговорочной кандидатуры не оказалось. Наиболее подходящий для «Белых Волков» наставник не хотел уходить из своего столичного клуба, так как сам со своими подопечными вынашивал самые высокие, честолюбивые планы. Другой добротный хоккейный полководец ставил неприемлемые условия, требовал изменить руководящий состав клуба, на что его президент, один из высших боссов республики, не посчитал нужным пойти. В конце концов нашли этого Ломтева, которого толком никто и не знал, который ничем выдающимся ни как игрок, ни как тренер в элитной лиге себя не засвидетельствовал, но как

раз в тот достопамятный сезон привёл свою подопечную команду к победе в низшей, чем наша, но по названию – Высшей Лиге. (У нас все лиги во всех видах спорта – Высшие, Сильнейшие, Супер, Экстра; не посвящённый человек, привыкший к первосмыслам слов, и не поймёт, которая из них круче.)

С чего начал Ломоть (а ещё короче – Лом) в команде «Белых Волков»? С беспардонного наката на чемпионский состав. В клуб были приглашены полкоманды извне. Это были лучшие игроки Лиги Сильнейших, опытные легионеры из Северной Америки и Европы, а также Лом прихватил с Урала, из прежней своей дружины, пару молодых, подающих большие надежды ребят. (Здесь следует заметить, что одного из них специалисты называли гениальным. Звали его Денис Деникин, в хоккейной жизни – Дэни. Но он приехал травмированным и во время тренировок и игр слонялся, высокий, сутуловатый, в своей неизменной чёрной спортивной шапочке, надвинутой на глаза, вдоль бортов хоккейной площадки.) А коренные «волки»-чемпионы пошли искать счастья в других командах. Оставшихся Ломоть стал тасовать, как колоду карт. Буль-булевская тройка (о пятёрке уж и речи не шло) в предсезонке то без Каши оставалась, то из неё Муха улетал, то именитые новобранцы подменяли их обоих разом. К началу сезона к Буле вернули Кашу, которого Лом терроризировал за избыток веса и «неквалифицированную» силовую игру, которая и в самом деле у него частенько переходила

ла в рукопашную схватку. Он же и в чужие бои, к которым не имел непосредственного отношения, ввязывался. Жил по своему уставу, и этот его устав не всегда совпадал с правилами игры и поведения на хоккейной площадке. Огромный, мощный, Каша-вятич считал своим долгом постоять и за кипера, и за маленького Муху, и за всех обиженных и оскорблённых, не взирая на число и массу зарвавшегося противника. Однажды, бросив на лёд перчатки, он одним махом двоих уложил и был отправлен остужаться в раздевалку, поплатившись в придачу двумя пропущенными играми и денежным штрафом, поскольку тех двоих увезли сразу в больницу.

К началу сезона под управлением нового главного тренера Каша скинул двадцать килограммов веса, Булатов – двенадцать, Муха вообще превратился в какую-то летающую мошку. Дело в том, что главным козырем Лома была физическая подготовка. В предсезонке он заламывал такие физзарядки, что команду сразу оставили несколько классных игроков, строивших свою игру на мастерстве и технике. Лом объявил их лентяями и алкашами, а между тем двое из них позже были призваны в национальную сборную страны и выступили удачно. Да и в самый разгар сезона, после тяжелейших выездных игр Лом мог затеять тренировки с тасканием по льду огромных покрышек от грузового автотранспорта. Этот вид физической нагрузки у него назывался «большой камазовский привет». Некогда раскованные в своих действиях, игривые, как щенята, весёлые и затейливые «волки», впрягшись

в тягловые пути, точь-в-точь бурлаки на Волге с одноимённой картины Репина, понуро тянули за собой эти гигантские шайбы, эти приспособления, изобретённые человеком специально для избавления от непосильных тяжестей. При этом он приговаривал: вы не отработываете своих дензнаков. Будто Лом их из своего кармана платил. Действительно, в финансовом отношении клуб был одним из самых состоятельных в Лиге. Для Лома же, прежде не выдавшего таких денег, они казались бешеными и дармовыми. Не для него, такого же контрактника, как и хоккеисты, дармовыми, а для игроков, которые зарабатывали их в прямом смысле слова потом и кровью.

Переутомление, вызванное чрезмерными физическими нагрузками, этой своеобразной ломовой отработкой дензнаков, сказалась на игре. Начало сезона «волки» безоговорочно провалили, к концу осени впервые за последние годы клуб оказался вне первой десятки команд Лиги Сильнейших. Спортивная пресса республики сдерживала себя, щадила нового наставника и его дружину, состав которой, кстати, влиятельными спортивными изданиями в начале календарных игр сезона был назван сильнейшим.

Журналисты шутили: играй команда вообще без главного тренера, у неё получалось бы лучше.

7. Ухабы

Лишь одна ершистая городская газета выступила с критикой Лома. Статья в ней называлась «Алё, народ, поехали!».

Если Дрозд перед тренировкой или игрой заходил в раздевалку и здоровался со всеми за руку, то Ломоть считал это ниже своего достоинства. На тренировках он выкатывал на середину хоккейной площадки, и его общим приветствием и командой, возвещавшей о начале тренировки, было:

– Алё, народ, поехали!

Всё-таки кем он больше был – Ломтём или Ломом?

Наверное, всё-таки Ломом. Хотя порой – безусловным Ломтём. Команда, бывало, проигрывает, надо срочно что-то предпринимать: перекраивать тактику, боевые порядки, а он – ни гугу, лишь поправляет свою наполеоновскую чёлку, а команду, как корабль без руля и ветрил, несёт в гиблом направлении. Ломоть он и есть Ломоть.

Также Ломтём, то есть человеком не совсем цельным, можно было бы назвать и его бессменного подручного второго тренера команды Серова Сергея Сергеевича, которого Лом вместе с двумя игроками привёз с собой из бывшего своего клуба.

Но Ломтём второй тренер зваться не мог, поскольку отродясь был Серым.

Серее серого выглядел он в команде «Белых Волков». За-

нюханный, убогий вид его с лакейски склонённой – как-то ещё и набок – головой вполне соответствовал его внутреннему миру. Зато обстоятельства распорядились так, что он в данный жизненный момент был наделён правами и имел приложением к этим правам свой конduit, куда записывал все маломальские прегрешения игроков. Конduit этот свой он вёл в двух экземплярах – большом и малом. Большой конduit (амбарный талмуд в красном коленкоровом переплёте) хранился в кейсе; малый же, в виде красненького небольшого блокнота, умещался во внутреннем кармане пиджака. Первоначально проступки подопечных аккуратненько ложились в сокращённом письменном виде в блокнот, а затем обстоятельно и подробно переписывались в коленкоровый талмуд.

Ничто не ускользало от всевидящего ока Серого. Скажем, попил перед ужином на выезде у себя в номере Муха пивка малость – готово, фиксация события в двух экземплярах под пурпуром обложек произведена. Запах изо рта, конечно, к делу не пришьёшь, но вот бутылка из-под пива в тумбочке обвиняемого – это уже вещественное доказательство. В результате: сразу по приезде домой Мухе был наложен штраф: на свои полторы тысячи баксов он приобрёл для клуба тренажёрный велосипед.

Бдел Серый и по ночам, бродил по коридорам базы, как лунатик, к замочным скважинам припадал, в межсезонье и вокруг здания по кустарникам лазил, всевозможные тени-

стые лавочки и тренажёрные лежаки обследовал: а вдруг кто в самоволке с местными девками блудит!

К Булатову радетель дисциплины и порядка относился с подозрением: умный шибко и правильный. А после того, как по упомянутому доносу Муху оштрафовали, и Булатов, прознав про это, задумчиво и с сожалением процитировал, глядя прямо в глаза тренера-стукача:

И это имя, коль искусно счесть,
В итоге даст: 6–6-6,

тот определился в отношении дядьки окончательно: душман.

Что имел в виду Булатов, когда произносил стихи малоизвестного поэта, это его дело, но Серый понял цитату по своему и в ответ быстро и мелко перекрестился.

Второй тренер считал себя просвещённым христианином, носил на золотой цепочке крест, сыпал налево и направо изречениями из Библии. Насколько его познания Священного писания были глубоки, одному богу известно, но то, что три шестёрки кряду – это кощунственное и даже сатанинское сочетание цифр, ему было известно, и он после того словесного «броска» возымел на Булатова не просто обиду, но святую ненависть.

Однако в дисциплинарном плане с детства по-армейски собранного Булю было не достать. Он был женат, в самовол-

ки не бегал, не пил, не курил, одним словом, образцово-показательный хоккеист, да и только. Плюс капитан, плюс наставник молодёжи. Что касается его двусмысленных высказываний и этих бесчисленных и не вписывающихся в интерьер хоккейного житья-бытья книжек, то они с точки зрения порядка были неподсудны и в известный кондуит не вписывались.

Серый с Ломом были как сообщающиеся сосуды, и двадцать седьмой номер в скором времени был отправлен в глухой и оскорбительный запас. Формальным поводом послужило то, что, играя в меньшинстве, он передал клюшку назад защитнику, который свою сломал. Булатов беспомощно, как без рук, прикрывал собою ворота, но противник беспощадно прошил резким щелчком и его, и вратаря, и матч был проигран.

Почему этот повод друзья посчитали ничтожным и формальным? Да и просто всего лишь поводом? Потому что передача в тот момент клюшки назад безоружному защитнику было действием логичным. Я видел, как в одном из матчей НХЛ защитник обороняющейся команды передал своё ружьё обезоруженному в пылу боя вратарю, и тот защищал свои ворота лёгонькой клюшкой полевого игрока. И потом Ломоть взял себе за правило при численном меньшинстве выпускать на лёд именно Булатова (чаще с Кашей, если тот, разумеется, сам не коротал время на скамейке штрафников). Буля вставал грудью на пути града шайб, разгадывал хитро-

умные кроссворды комбинаций, корячился в вязкой силовой борьбе у борта, выбрасывал чёрный кругляш к чертям собачьим из зоны, разок в меньшинстве умудрился забить, но все эти доблести перечеркнуло одно поражение, одна пропущенная шайба, когда безоружный Булатов-боец метался перед численно превосходящим противником и невозможного превозмочь не смог.

При разборе полётов на базе Лом сказал:

– На фронте при потере оружия расстреливают.

Следующие игры были на выезде, и виновника прошлого поражения на них не взяли. А чтобы жизнь дома не показалась сахаром, чтоб денег штрафник даром не грёб, его выставили за вторую команду клуба, за «волчат», короче. Пытались даже с ними на выезд отправить, но Буля поставил вопрос ребром: «Тогда совсем уйду из команды».

Уйти не дали. Но мариновать в запасе продолжали. На капитанском мостике его подменил защитник первой пятёрки Калганов. Это был нелёгкий период жизни моего друга, чемпиона и матёрого «волка». За четверть века жизни в хоккее его так никогда не унижали. Спасала хоккеиста в некотором роде сборная страны, куда его неизменно вызывали. Но сборная – дело временное.

Снедаемый тоской и позором, не знал он, куда девать себя. Особенно во время матчей. Несколько игр подряд он волком зафлаженным не вылезал из логова раздевалки, наблюдая за происходящим на льду по телевизору. Однажды вы-

брался на трибуну, но его тут же узнали, полезли с вопросами, с ручками и бумажками для автографов... В другой раз всю игру проторчал торчком неприкаянным у борта, но здесь, у самого льда, ему всё время казалось, что вот-вот наступит его смена. Но она никак не наступала, и ему становилось дурно от беспомощности и обиды за команду, которую в очередной раз ставили на колени. Тут же рядом, на командной скамейке, его щенят, Кашу с Мухой, зло воспитывал нестигаемый Лом, тыкал носом в игровые огрехи, недоумевал: где былая сыгранность? В ответ те лишь хлопали бестолково глазами, еле переводя дыхание, утираясь полотенцами, и, выкатив на ледовую площадку, вновь расходились, как в море корабли, без связи, без взаимопонимания, и шли, барахтаясь, каждый сам по себе в одиночку ко дну.

Разок от свистка до свистка протусовался он с «гениальным» новичком Денисом Деникиным. Далекое в этом кратком общении не зашли. Так, поболтали о том о сём – необязательном.

Я впервые видел моего друга таким растерянным и беспомощным. Он не знал, что делать. До мозга костей книжно-правильный, он что-то бубнил о Законе причинности и его всеобщем характере и недоумевал, что сам без всякой причины выпал из этого закона природы.

Жизнь, пытался я внушить ему, та же игра. Но всегда ли игра логична и счёт хоккейных матчей объективен? И аутсайдер нередко бьёт чемпиона, и чемпион волей рока порой

оказывается в затяжном ауте. Всякое бывает. Надо спокойней всё это воспринимать. И что-то делать.

– Что?

Вне хоккейной площадки жить и бороться мой друг, похоже, не умел.

8. Отец

В трудный момент и жена не стала ему опорой. Хотя что от неё можно было ждать? Ей Булатов, что ли, нужен был? Она шубы меняла чаще, чем её сверстницы колготки. Далека была от проблем мужа. Единственно до чего додумалась, когда муж у себя там в опалу попал, так это перестала посещать игры «Белых Волков». А то как-то не то, некомфортно: мужа нет, а она есть, присутствует. Нельзя же давать повод для зубоскальства. Там, в ложе для жён хоккеистов, ох какие злые язычки разместились!

Булатов и не ждал от неё поддержки. Свои болячки на показ супруге не выставлял. Себе дороже. Любая оглашённая в семье проблема оборачивалась против него самого. Её неизменная резюмирующая фраза была: «Сам виноват!» И никаких гвоздей! Травма у тебя или ты просто температуришь – сам виноват, – и баста. А что, действительно, разве виновата она в том, что его в запас упекли?

Кто переживал за Равильку, так это его отец – Булат Абдуллович. Главный редактор издательства, он и не заметил,

как в заботах о сынишке хоккеем лёг на его жизненных весах весьма увесистой гирькой. Он не пропускал ни одного матча с участием сына. Да, тренеры, начиная с детской команды, воспитывали в неприметном мальчишке чемпиона, но и он тоже не в стороне стоял. Кто подымался в четыре утра, жарил любимую сыном картошку, а затем будил его, спящего безмятежным, ангельским сном, чтобы через полчаса выпустить за дверь во тьму и стужу: тренировки-то ни свет ни заря начинались. Как это было непросто, даже больно! Однако Булат Абдуллович перемогал себя, безропотно гасил в себе естественную родительскую жалость – только так, с отцом вместе перебарывая трудности, с самого раннего детства закаляя и дисциплинируя волю, сын сможет добиться чего-то путного в жизни. Бодрился у кухонной плиты, заводил сам себя, как промёрзший за ночь грузовик стартером: главное, инстинкт цели! И воля! Да, цель и воля к ней. Затем, сыграв подъём, уже заводил и бодрил сына: «Вставай, нас ждут великие дела!» А весь дом ещё спал. И жена, и дочь, и старший сын, и кот Барсик...

Первоначально Булат Абдуллович и на тренировки, и на игры водил будущего чемпиона за ручку, закинув рюкзак с амуницией себе за спину (да, застал Равилька времена рюкзаков). Но сын быстро выказал самостоятельность: «Папа, я сам доберусь!» Как ни пытался отобрать тяжёлую ношу, нет: «Сам!» Упрям и своенравен был сызмальства. Но, быть может, только таким и подвластен путь к Олимпу?

Как радовался Булатов-старший, когда в финальной игре за чемпионство его сын поставил победную точку – влупил на последней минуте шайбу в самую «девятку», на контратаке, на противоходе... Противник навалился было на «Белых Волков» всей превосходящей числом армадой (опять Каша перестарался в борьбе за честь и достоинство); и уж вратаря гости собирались менять на шестого полевого, тут-то сыночек его родимый пустил клюшку веером по льду, перехватил шайбу, а дальше – рывок (такой, когда каждый мускул его, каждый позвонок, сегмент и, казалось бы, даже ноготок пошли ходуном – к цели, к цели), бросок... Сперва черенок клюшки, как сабля, выгнулся дугой, а затем, со звоном выпрямившись, пустил каучуковый снаряд со страшной силой неотразимо в мишень, в сетку, и красный всполох за-над воротами соперника – всё, победа! И кипера менять гостям уже бесполезно.

Не смог сдержать слёз, глядя, как ликовал сын, как полетели в разные стороны клюшки, краги, как «волки» стаей кинулись к своему вратарю – без защитной маски, светлородому иисусику, повалили его и друг друга и устроили чемпионскую кучу-малу. А потом стали качать и подкидывать под самый потолок Ледового дворца вёрткого, большеносого Дрозда, приведшего команду к победе. (Ну, может, чуть пониже потолка.)

Мог ли он об этом мечтать, когда провожал своего маленького хоккеиста с огромным рюкзаком и дешёвенькой детской

ключечкой в темь и пургу на заутреннюю тренировку «волчат»? Сколько лет прошло, сколько зим? И надо же – сбилось! Нет, это не радость была тогда, в победном Ледовом дворце, это было счастье!

И вот дерут «волков» и в хвост и в гриву, а вожака не видать. Нет главного бомбардира команды, нет его сына, нет и многих, многих других надёжных бойцов. И хоккей в его глазах какой-то другой пошёл, непривычный, без центра внимания, без точки отсчёта. Привык постоянно ждать, когда сын выкатится на площадку, когда ему шайба достанется, когда он, наконец, забьёт. А тут все на льду одинаковыми стали, серыми, невзрачными. Вторая тройка вообще какая-то растерянная и осиротевшая. И как насмешка на груди у них красуются оскаленные волчьи морды. Нарисовать-то всё, что угодно, можно!

Нет, волкам, если они настоящие волки, во все времена вожак нужен. Не только за оградой, за бортом, в лице главного тренера, но, прежде всего, в чистом поле, на ледовом поле сражения. Кто-то же должен повести за собой стаю? Всё-таки классное название у команды: «Белые Волки»! Не сравнишь же с каким-нибудь «Газовиком», «Автомобилистом» или «Чекистом»... Но имя, кличка, название обязывают. Они, может быть, и даются произвольно, но затем всю жизнь диктуют, вершат судьбу.

На одном из таких, «без точки отсчёта», матчей Булатов-старший с трибуны за воротами отыскал взглядом сына,

и сердце его сжалось. Тот стоял у борта в «штатском», и всей своей застывшей фигурой был точно гипсоподобное изваяние в парке культуры и отдыха, только без патетики в позе.

На днях зашёл сын к отцу-матери, какие-то гостинцы занёс, сели чай пить, а на него смотреть муторно, будто у человека заживо душу вынули. Пытался было успокоить, уравновесить – какой там! Да и что он, пожилой папаша, бумажный, издательский червь, может теперь? У сына уже к четырнадцати годам пошла своя обособленная жизнь. Уже тогда к нему не достучаться было. На обеды себе, да и на кое-какие шмотки он мальчишкой зарабатывал. А в шестнадцать, когда за вторую команду «волков» стал выезжать, его заработной плате могли позавидовать иные писатели с именем.

После чая сын не задержался. Прощаясь, как мог, успокоил предков: удача и неудача в хоккее на одних коньках катаются, всё будет нормально. Погладил старого пушистого Барса, подёргал ласково за ушки, тот помурлыкал в ответ и побежал провожать молодого, редко появляющегося в доме хозяина до самой ступеньки его внедорожника.

Уснуть в ту ночь Булатов-старший не смог. Ворочался в постели, вставал, ходил по квартире туда-сюда: какая несправедливость! Куда смотрит президент клуба, умный ведь мужик, почему не вмешается? А пресса? То врут, что Равиль Булатов травмирован, то ещё что-то там, нелепое и дикое – бойкот, мол, объявил из-за задержек в зарплате и вообще – за океан опять собрался... Какая чепуха жёлтая!

Давно бы уж уехал, сколько его из-за океана звали обратно! И ведь люди читают эти бредни, расспрашивают, понимающе покачивают головами, а сами не ему, отцу форварда, а бульварным сплетням верят.

Уже далеко за полночь, мирно посапывающая жена вдруг молвит, будто и не спала:

– У Равиля нашего как были в детстве синяки под глазами, так и остались. А ты говорил, с возрастом пройдут.

С чего это она посреди ночи?

9. Газет она не читала

Мать Були, Кадрия-апа, добрая и беспокойная пчёлка-матка, с утра до вечера перелетавшая с одной работы на другую, всегда с пакетами-авоськами, жарящая-парящая, стирающая бельё, строчащая на швейной машинке, тянувшая весь семейно-хозяйственный воз, кроме синяков в обвод подглазий младшего сына ничего не видела, других проблем за ним не замечала, далека она была от завихрений на хоккейной площадке и за её пределами. Как завелась она по замужестве в те, теперь уже далёкие времена повального дефицита и талонов на всё и вся, когда не покупали, а доставали, когда лучшие вещи в магазинах лежали не на прилавках, а под и когда ещё не всё покупалось и продавалось (не только в промтоварно-бакалейном смысле слова), и какой-нибудь принципиальный бедолага и забулдыга мог хлопнуть себя в

грудь: «Меня не купишь!» – вот, как завелась она в те допродажные времена, так и не останавливалась. Мчалась по жизни и безуспешно пыталась заставить своё ленивое семейство взять её жизненный темп.

Семейство Булатовых...

Их было пятеро. Отец, мать, старший сын, дочь и младший Равиль, хиленький, бледненький (после долгой помывки в бане обычно в обмороки падал, и его отхаживали нашта-тырём)...

И мать, неугомонная Кадрия-апа, делила себя для всех ровно, никого своим суровым вниманием не обделяя. Ну, не суровым, так, скажем, сдержанным, не сюсюкающим. Время было такое, далеко не сахарное.

Отец? Он был главным редактором и литературным негром в книжном издательстве. С головой весь в рукописях, в работе... Проза жизни его не интересовала. Разве что хоккеем младшего сына? Но разве хоккей – это проза? Булат Абдуллович был знатоком восточной поэзии да вот ещё теперь, с ростом младшего сына, – такого вида человеческой деятельности, как хоккей.

В доме было много книг. Дети (особенно младший) за-по-ем читали. Но по стопам отца не пошли. Да он и не хотел. Понятно, чего нищету плодить! Тем не менее младшенький въелся в книжный мир с такой агрессивностью, что заставил опасаться за своё здоровье. И старший много читал, но как-то рационально. Хотя тоже – взял да и одолел всю Большую

советскую энциклопедию (30 томов) от корки до корки, страницу за страницей, подряд, как один большой роман. Дочь вот ничем особым не удивляла. Была практичной и расчётливой, можно сказать, с пелёнок. Хотя это, между прочим, тоже, если подумать, заслуживает внимания.

Так они и росли, так и выросли. Старший стал хорошим инженером, дочь после неудачной осады медицинского института сделалась секретаршей какого-то начальника в НИИ, отбила там себе одного женатика, полуинженера, полуспортсмена, и благополучно женила его на себе. Младший же, вопреки своей изначальной хилой природе, стал профессиональным хоккеистом, окреп, возмужал, а синяки вот под глазами остались, отчего Кадрия-апа продолжала сокрушаться, не подозревая, что переживать надо было по другому поводу. Газет она не читала и не читает. Да если бы и читала, то всё равно ничего б толком не узнала, так как проблемы хоккейной команды, где играл сын, позорно замалчивались.

10. Довели до харакири

Белые пятна в освещении действительного положения в команде «Белых Волков» появились, казалось бы, по той простой причине, что руководство республики слишком много поставило на карту команды. Критиковать её практически означало идти против законодательной и исполнитель-

ной ветвей власти одновременно, хотя президент клуба был человеком весьма демократичных взглядов, умеющим прислушиваться к гласу простого народа и понимающим роль СМИ как в политике, так и в спорте, хотя это зачастую одно и то же. Закавыка же была в том, что в нашей прессе подбостранно и угодливо чтят начальство и трусливо перестраховываются. Не то чтобы существовал какой-то госнадзор за печатью, нет, просто сильна была самоцензура; в самих наших журналистах сидели и сидят бдительные очкарики в чёрных нарукавниках и тактично предупреждают всяческие фривольности и вольнодумие. Принцип «как бы чего не вышло» хронически витает в воздухе редакций. Одна несчастная заметка в газете и двухминутный сюжет по ТВ, пробившие брешь в замалчивании проблем команды на старте чемпионата, наделали столько шума и принесли столько неприятностей авторам этих публикаций, что другие, более тёртые и осторожные репортёры, почесали в своих затылках и сказали себе: правильно делаем, что помалкиваем.

Особенно досталось комментатору хоккейных трансляций телевидения и автору того самого злополучного сюжета по центральному ТВ Сергею Афлисонову. Его беспардонным образом стали выметать из Ледового дворца. Усердствовал гендиректор клуба Сватов. С немого благословения главного тренера, конечно. Почему немого? Потому что поначалу, когда проигрывали, он помалкивал. Накат же свой начал грамотно, когда «волки» поймали свою игру, когда

уже Буля был выпущен из несправедливого заточения в запасе на волю и показал всем, где раки зимуют. Но об этом позже. Так вот, Лом выжидал-выжидал да – только добрались до финала – как ахнул по Афлисонову мерзким интервью, которое он дал не менее мерзкому шелкопёру (пришлому в наших журналистских кругах) и которое тот умудрился тиснуть в трёх газетах разом. Лом, тонко чувствовавший момент, заявил в том интервью, что Афлисонов постоянно обливает команду «Белых Волков» грязью, что «или я, или он» и что, если этот комментатор проведёт ещё один хоккейный репортаж с участием его «волков», то он, Ломтев, приведший команду к финалу плей-оффа, сделает себе хакари. Бред! И это взрослый человек. Кстати сказать, Серёжа Афлисонов прокомментировал ещё несколько матчей, а Ломоть брюха своего не вспорол. Тем не менее тучи над головой Серёжи продолжали сгущаться.

А Буля, возвращённый в основной состав, в родную тройку, к Мухе с Кашей, продолжал демонстрировать класс. Совпадение или нет, но с его выходом на лёд чёрная полоса для команды прервалась, и «волки» выдали на-гора беспроигрышную серию из семнадцати (бывший номер Були) игр, вплотную приблизившись к заветному финалу.

Во всех тех играх душой команды был восстановленный в своих правах капитан. Это и тупой Лом уразумел и уж выпускал, выпускал его на поле боя – и в большинстве, и в меньшинстве, и на первых минутах, чтобы с ходу, в дебюте, сло-

мить соперника, и под занавес, когда надо было во что бы то ни стало отыграться.

И Равиль Булатов старался. Почти в каждой игре отмечался забитой шайбой, а то и двумя. С приходом дядьки и Каша с Мухой преобразились, стали в игру играть, а не подёнщину на льду отбывать; и стало у них вместе всё легко и сверхъестественно удачно получаться, да и команда оживилась, будто «волки» свежей крови хлебнули. А Лом говорил: «На пользу Булатову отдых пошёл. Засверкал парень. Да, на то и тренер у руля, чтобы вовремя по тормозам дать, а когда надо – газ выжать».

Лом гоголем ходил. «Волки» сотворили чудо, пробились в финал, читай: «серебро» в кармане, а это означало, что первый год в команде, который, в принципе, даётся на раскачку, у главного тренера «Белых Волков» вполне удался.

А вот в финальной серии игра у двадцать седьмого номера не заладилась. И опять, совпадение или нет, – у команды тоже. Бывает такое: руки-ноги те же, и соперник не с Луны свалился, мотал-обыгрывал его не раз, и в день игры встал, казалось, с той же ноги, и коньки зашнуровал, как всегда и не как все, – а сперва левый ботинок, потом правый, и на льду старался, из кожи вон лез, ан нет – шайба не шла в ворота: то во вратаря попадала, то в штангу, а то вовсе куда-то на сувенир болельщикам улетала.

Что расписывать, уступили золотые медали. И если серебро для главного тренера, без году неделя возглавлявшего ко-

манду, сияло ласкающим солнечным светом, то для вчерашних чемпионов это был откат.

Подвешенный в неопределённом состоянии Сергей Афлисонов решил внести ясность в ситуацию. Сделал он это тактично: не сразу после ультимативных и страшных заявлений Лома перед финалом, а когда «волки» уже взяли серебро – собрал пресс-конференцию, на которую пригласил в качестве экспертов известного писателя, большого любителя и знатока хоккея, а также первоклассного в вопросах, касающихся проблем средств информации, юриста. Заключение дано было ими без вариантов: никакого обливания грязью команды, заведомо негативной информации и клеветы (это писатель, в тот год смотревший хоккей по телевизору, высказался) в ТВ-репортажах Афлисонова не было. А юрист, главный радатель свободы слова в республике (позже – по всей федерации), заметил, что обвинять Афлисонова в данном конкретном случае – это всё равно, что корить диктора метеослужбы за оповещение о плохой погоде. Лом на пресс-конференцию, хотя и был приглашён, не явился. Журналисты с экспертами после коллективного выяснения истины встретили главного тренера у входа в Ледовый дворец и спросили его, беззаботно фланирующего вдоль нежно зеленевшего майского газончика: если Афлисонов на следующий сезон будет продолжать комментировать игры с участием «Белых Волков», то он, то бишь Ломтев, оставит свой пост? Некоторые журналисты ставили вопрос острее: сдела-

ет себе харакири? На это Лом с достоинством и расстановкой ответил:

– В следующем сезоне, значит, он не будет комментировать наши игры.

11. Камень пригодился в конце сезона

Неожиданный отпор в виде пресс-конференции с участием каких-то, помимо журналистов, писателей и правозащитников не только не остудил триумфатора, но, напротив, разогрел, и Лом посчитал делом чести довести неожиданно получивший широкую огласку поединок с нерадивым вещателем до единственно логичного в той ситуации победного конца. Беспроигрышный приём, как это сделать, подсказал мудрый – в подобных делах генеральный директор, по-современному – генменеджер клуба Сватов.

Сват присоветовал Лому, чтобы главного тренера в святом деле поддержала команда, чтобы все до одного поставили подписи под официальным коллективным письмом, в котором выражался бы протест грязным репортажам Афлисонова и содержалась просьба очистить от него эфир. Идея Лому пришлась по душе, и он, не откладывая в долгий ящик, принялся её воплощать.

У «волков» эпистолярная инициатива Лома восторга не вызвала. Серёжу Афлисонова команда хорошо знала и ломать его судьбу желанием не горела. Да и вот ещё что. Как

могли хоккеисты, всякий раз во время репортажей находившиеся на льду, судить о телеведущих? По видеозаписям? Но они пользовались кассетами своего оператора, который предоставлял видеоматериал, безусловно, менее художественный, без красивых крупных планов, но зато со своей высокой точки съёмок более для профессионального разбора пригодный. Рисунок игры, многоходовые комбинации, просчёты, ошибки, он подавал как на ладони. Так что комментарии Серёжи Афлисонова, которого хоккеисты знали прежде всего как просто своего парня, оставались как бы за кадром жизнедеятельности команды.

Но вот что интересно, и тренеры ведь телевизор во время матчей не смотрят. И спрашивается, каким образом они могут судить о качестве репортажей? Не глядя и не слыша?

Да ведь жёны есть ещё на свете.

Не всегда, правда (надо же в своих нарядах и на людях в Ледовом дворце показаться), но смотрят. Особенно супруга Серого. Она-то и узрела. Обладая от природы чутким политическим слухом, распознала в бодрых комментариях Афлисонова крамолу, позорившую и унижавшую тренерский штаб команды, шепнула мужу на ушко, а тот довёл информацию до главнокомандующего.

Говорят, муж – голова, жена – шея. В данном случае шейей для Лома оказалась жена второго тренера.

Лом подобрал подкинутый услужливыми супругами камень, сдул пыль и бережно сунул за пазуху.

Камень пригодился в конце сезона.

12. Май как точка отсчёта

Буля – парень майский.

По этому поводу он ради шутки любит напоминать слова своего милого сердцу героя одного кинофильма, виденного нами с детства добрый десяток раз:

– Маменька, вы лучше скажите, в каком месяце я родился?

– В мае.

– Вот, всю жизнь мне и маяться.

В прошлом мае, после того нелёгкого для Були сезона, он наконец-то со своей женой развёлся. Почему «наконец-то»? Потому что это были фрукты из разных садов-огородов. Точней, конечно, овощи. (Хотя овощем моего друга назвать я никак не могу.) Её, если по-честному, не интересовали ни хоккей, ни поэзия, ни он сам со своей несуразно громоздкой для хоккеиста библиотекой. Академик, что ли, какой! Или, ё-ка-лэ-мэ-нэ, поэт?! Половина ведь книг дома стихами набита! А что такое по большому счёту поэзия? Это искусственная (так же не говорят в жизни), надутая пустыми красотами речь. А хоккей? Тоже нечто отвлечённое и нелепое. Разница между ними в одном: хоккей приносил какие никакие, но деньги, для начала и неплохие, но потом и они стали для неё не весть какими – всё ведь познаётся в сравне-

нии, и хоккеисты – это ещё не самые богатые люди на земле, тем более при временном характере этой профессии. Спорт, что поделать, дело возрастное и малоперспективное.

А эти книги... Он их и из-за границы тащил, вместо нормальных покупок-то. Они захлестили всю квартиру. Да не просто квартиру – её жизнь! От всех этих Верленов, Элюаров, Бодлеров, Уитменов, то ли Рембо́, то ли Рёмбо у неё в носу аллергично зудело, держалась устойчивая аллергия, а если без обиняков – то просто-напросто с души воротило. Все ж друзья-знакомые смеялись. Ладно бы только над ним. Но из-за него и она сама ненормальной в глазах подруг выглядела. Круглый год у него тренировки, сборы, игры, турне (будто война на дворе, а он донской казак на коне), а вернётся домой – книги... Ещё эти книголюбы с козлиными бородёнками, пруд пруди ими дома! Ни компании приличной, ни нормального времяпрепровождения... Молодость-то не беспредельна.

Таким образом свой хронический конфликт с мужем она объясняла себе и окружающим. Так оно и на самом деле происходило. Эти ссоры, ссоры... Откуда они пошли? Ведь когда Галине было восемнадцать, она слушала его, затаив дыхание:

Сегодня перед рассветом я взошёл на вершину холма
и увидел усыпанное звёздами небо,
И сказал моей душе: «Когда мы овладеем всеми этими

шарами Вселенной и всеми их уладами, и всеми их знаниями,

будет ли с нас довольно?»

Моя душа сказала: «Нет, этого мало для нас, мы пойдём мимо – и дальше».

И вторила ему, Равилю Булатову, Буле: да, мы пойдём с тобой мимо, дальше и выше.

Они познакомились случайно. Он зашёл в магазин «Электротовары», а выйти не смог – подкрался и без артподготовки, без грома и молний, хлынул проливной дождь. Буле надоело в магазине, и он выбрался на свежий воздух под козырёк здания. Он глядел на пузырящиеся лужи и корил себя за то, что оставил машину на другой стороне улицы. Июльский ливень накрыл район так неожиданно, что люди, беспечно прогуливавшиеся чередой магазинов, брызнули враспынную. Ни у кого ни зонтов, ни накидок... Лишь только одна красавица безуспешно пыталась раскрыть свой автоматический зонтик, но он не слушался. Лёгкое платье разом намокло и прилипло к её телу – этот шалый дождь будто раздел девушку. Наконец, она оставила борьбу с зонтом, побежала под козырёк магазина. Буля, чисто громом небесным поражённый, смотрел, как она стремительно приближается к нему.

У неё были серые, как сумеречное пространство за её спиной, глаза и мокрые тяжёлые волосы, с которых на грудь сте-

кала ручьями дождевая вода. Буля посторонился, и незнакомка встала с ним рядом вплотную.

Она вполуоборот головы подняла на Булю свои светло-серые глаза и сказала (или спросила)... Убей бог, Буля не помнит, о чём были те первые её слова и свои ответные тоже. Так поразила она его. После обмена ничего не значащими фразами она отвернулась. Теперь уже Буля первым подал голос: не боится ли она простыть? «Не волнуйтесь», – ответила красавица. Сначала она вела себя с ним, как и подобает прекрасным незнакомкам, терпимо-снисходительно, но потом, слово за слово, молодые люди разговорились. Всё-таки наш Буля виден собою и слепой надо быть дурой, чтобы не разглядеть это. Новый знакомый поправил ей зонтик и в гуманных целях предложил подвезти её, продрогшую, до дому в тёплом, сухом авто. Она согласилась.

Буля потом много раз повторял мне: для него было важно то, что она не на модного хоккеиста клюнула, а с простым парнем познакомилась.

– С простым парнем на джипе, – каждый раз подначивал я.

– Джип-то она потом увидела, – оправдывал он её, – когда уже улицу перешли.

Они начали встречаться – она, студентка медицинского института, будущий врач санитарной службы, и он, хоккеист и поэт одновременно. Какие он ей стихи читал! Совсем не был похож на спортсмена. Чудаковатый, наивный. Точ-

но ребёнок, весь наружу, всё на лице его написано, в глазах высвечено. Не поэт в прямом смысле слова, но как он умел увлекать поэзией, диковинными словосочетаниями, которые неожиданно и точно объясняли то, что лишь чувствовалось, но повседневными словами не высказывалось!

Романтика познания... Очарование первым чистым соприкосновением с новым, неведомым. Любой новознакомый человек – неизвестное мироздание, неопознанный объект. Любой влюблённый – существо познающее. Любовь всегда познание. И процесс взаимного познания сближает. И при благоприятных опознавательных знаках на этом пути начинает казаться, что души молодых отроду родственны. Духовно родственны.

Как это ни прискорбно сознавать, но в один прекрасный день познанию приходит конец. То есть познание превращается в знание, и оно, как полуденное солнце своими прямыми лучами, нещадно рассеивает всю поэзию, все заутренние туманы и миражи. Родственные души вдруг оказываются абсолютно чужими и даже чуждыми друг другу; половинки румяных яблочек – совершенно разных сортов.

При первых не понятных ни уму, ни сердцу размолвках Булатову казалось, что это не ссоры, а какие-то досадные недоразумения. Но с «вершины красивого холма» пришлось спуститься. И спуск этот вёл не к равнине – к пропасти. Однажды он ужаснулся, увидев в глазах ещё вчера любящей его женщины ненависть к себе. Не холод, не отчуждение, а

неприкрытую, жёлтую ненависть.

У них к тому времени был уже чудесный, краснощёкий малыш Искандер, как мечтал Буля, – продолжатель его рода и дела.

Но узы Гименея требуют присутствия. А судьба хоккеиста – это всегда отсутствие.

Быть может, ей нечем было без него заняться, может, денежная зависимость её угнетала? Но денег он ни на Галину, ни на Искандерку не жалел. Она лихо рулила своим белым «мерсом», с наслаждением тусовалась на различного пошиба тусовках, в расходах себя не ограничивала. Искандерке Буля купил классную хоккейную экипировку, но у него с хоккеем не заладилось. Жена сказала, что у Иси косолапит правая нога, и она у него от конька постоянно болит. Буля показывал сынишку врачам, те только плечами пожимали: вроде всё нормально, должен кататься. Но Искандер не катался.

Возможно, мать ему внушила равнодушие к конькам и льду, она ведь с ним больше была, чем отец-хоккеист.

Больше не больше, но чересчур часто подкидывала малыша мужниным родителям. Те были рады внуку. Только было обидно за сына. Они, старые, понимали, куда судьба гнёт. И не ошиблись.

13. Поздравление с разводом

Когда он пришёл ко мне в мастерскую и, тяжело опустившись на заляпанный засохшими красками венский стул, сказал, что развёлся с женой, я от души поздравил его. Так и сказал ему:

– Поздравляю, Равиль, от всей души и совершенно искренне. (Без восклицательного знака.)

Он сбивчиво и долго объяснял причину развода, говорил, что, может быть, сам виноват. Она же не преднамеренное зло творила, поступила соответственно своим чувствам и честно, по крайней мере.

– Честно? – переспросил я.

Я знал, кто она такая, но слушал молча. Сорвать с его глаз шоры мне не представляло труда значительно раньше его самостоятельного прозрения. Но, во-первых, в последние годы мы с ним не так часто виделись, и, во-вторых, с годами я стал немного умнее: правда-матка не всегда хороша и эффективна, особенно, когда у тебя нет обезболивающего средства, а дело касается близкого тебе человека.

Променяла наша красавица хоккеиста на банкира.

Всё-таки красивая, щучка, эта Галина! Как художник говорю. А красота – это отвешенный природой первоначальный капитал и вложить его в дело своей жизни можно разумно и выгодно. А какая выгода от изживающего свой спортив-

ный век хоккеиста? Она хоть и была на вид красавицей, не отягощённой избытком серого вещества в головном мозге, но это было поверхностное представление. Я это давно понял. Равилька ещё в пору брачевания попросил меня написать её портрет. Тогда я и прочёл в её глазах двойственность природы, несоответствие внешнего и внутреннего. Сделал в один присест набросок, и дело дальше не пошло. И она под пристальным моим прищуром почувствовала себя не в своей тарелке, и стало меня что-то нехорошее, не в пользу живописуемой осенять. Уже тогда я мог расколоть её, вывернуть второе дно наружу. Но, повторяю, до завершённой работы, до окончательного портрета дело не дошло. То у неё не оказывалось времени прийти в мастерскую, то мои житейско-творческие пути огибали место и время встречи с ней. Равиль меня и домой приглашал, и на дачу: чтобы, значит, на природе, на фоне цветов и яблонь... Нет, не получилось. Должно быть, по этой причине я и стал реже видеть моего друга?

Вот ещё о чём я подумал, когда Равиль сидел передо мной на старинном венском стуле в моей мастерской и размышлял о крутых виражах своей судьбы.

Однажды, это было на телестудии, совсем юная ассистентка режиссёра говорит мне: «Марат, когда ты найдёшь для меня богатого любовника?» Я отшутился: мол, когда своим волосам естественный цвет вернёшь, так сразу... По пути домой зашёл в продуктовый магазин, решил сосисок ку-

пить. Продавщица хорошо меня знает, улыбается и, взвешивая полкило моих завтраков, спрашивает: «Когда ты меня с богатым спонсором познакомишь?»»

Пришёл домой и думаю. Раньше любили высоких, кучерявых, а теперь хоть карлик плешивый, но лишь бы с тугой мошной был.

Меняются времена, меняются ценности. Проследите за эталоном женской красоты по истории живописи или, скажем, по журналам моды. До противоположностей ведь доходит. А теперь вот в отдельно взятой стране женщина взяла да и поставила с ног на голову понятие красоты и достоинства своих вечных судей. Молодца ей ясноглазого и добросердечного?

– В наши времена только по наивно-зелёному маю. А расправятся листочки в июне во всю, так вот, пожалуйста, банкира подавай!

– Искандрик с ней, что ли?

– С ней.

Он вертел в руках колонковую кисточку, слушал, отвечал, в глазах его блуждало недоумение.

Я размышлял вслух:

– Один мудрый человек говорил: перед тем, как жениться, спроси себя, а сможешь ли ты со своей избранницей вести задушевную беседу до старости, до самого конца своей жизни? И если – да, то валяй.

– Вначале так и было, – вскинулся Равиль, – так и каза-

лось, что до смерти... Мы понимали друг друга с полуслова и могли говорить не наговориться сутками. А потом... Потом стало происходить что-то непонятное.

Лишь высказанное облегчает душу человека. Слова, слова, слова... Главное – вольные, чистые... И неважно белые они по своей сути или чёрные. Нам надо было говорить, говорить, и мы говорили.

– Помнишь, – не смолкал я, – если ты теряешь что-то в одном месте, то в другом находишь?

– А если находишь, то обязательно потом теряешь, – вяло заметил мой друг усечённость философской мысли великого и обожаемого нами американца. Но ведь заметил. И добавил:

– Эти янки, в отличие от нас, такие оптимисты!..

Один – ноль! Вернее: один – один. Когда мой друг только раскрыл дверь моей скромной обители, счёт мгновенно зафиксировался не в мою пользу. Вернее, не в нашу с ним пользу. Но тактика – великое дело! И безоговорочное поражение, надвинувшееся было на нас со всей своей неотвратимостью, незаметно рассосалось в открытом и задушевном разговоре, увязло в силовой борьбе слов, рассыпалось по углам и щелям мастерской. Волны душевной обиды, которые человек уже не имеет силы в себе удержать, можно, оказывается, обуздать с помощью сознательной воли (отстранённого и ясного понимания ситуации как бы извне себя). Надо только иметь достойного спарринг-партнёра и втянуться, втянуться в разговор. Слово за слово... Так капля точит ка-

мень, так волны подмывают скалу.

Я взял из книжного ряда, что у меня на полочке над топчаном, Уолта Уитмена, этого человечища, про которого его современники говорили, что он не вмещается между башмаками и шляпой, этого вселенского поэта, великого жизнелюба и одновременно по отношению к ней, жизни, пофигиста, с которым меня в юности как раз Равилька и познакомил. (Книгу-то эту он некогда подарил мне со словами: будет плохо, читай, поможет.) И вот моя контратака. Раскрываю, не выбирая:

Эти равнины безмерные и эти реки безбрежные –
безмерен, безбрежен и ты, как они,

Эти неистовства, бури, стихии, иллюзии смерти –
ты тот, кто над ними владыка,

Ты по праву владыка над Природой, над болью,
над страстью, над каждой стихией, над смертью.

Он остался глух к цитате. Молча, незрячим взглядом скользнул по стене с безмолвными полотнами, будто прислушивающимися к нашему разговору и понимающими сложившуюся ситуацию. Впервые, может быть, в моей мастерской он не разглядывал мои картины. А у меня за стеллажом на дальней стене висело кое-что новенькое, которое он не видел, никто не видел и которое я, откровенно говоря, боялся показать ему. Но оставим пока.

Минут десять, а то и больше, висела в мастерской тонкая, хрупкая тишина. Лишь за огромным, приоткрытым окном, которое у меня смотрит на небольшую, смешанную рощицу, стучал средь бела дня свои многоколенчатые, любовные призывы нетерпеливый соловей. За окном хозяйствовал май, и дела не было жизнерадостному певцу до нашей маеты.

– Эх, Равильчик, обушь бы сейчас нам с тобой железом острым ноги, взять клюшечки, шайбу и, как в детстве, помнишь, махнуть по хрусткому снежку на майдан или на озеро да заскользить, а?!

Равиль вздохнул задумчиво:

– Да-а...

Подошёл к окну, толкнул створки до отказа (окна у меня не от стен до стен и от пола до потолка, как в нормальных художественных мастерских, – мастерская моя в старом, можно сказать, старинном жилом доме, зато почти в центре города, за парком, уже не раз здесь вспоминавшимся). Подвижный, тёплый воздух вместе с соловьиным пощёлкиванием, воробьиным щебетом, детскими голосами и треском разворачивающихся клейких листьев, который человек в мае не ухом слышит, а ноздрями, грудной клеткой и каждой порой своей кожи, властно в тот весенний день вошёл и наполнил собой нашу пропахшую красками берлогу.

– До зимы теперь далеко. – В голосе моего друга то ли сожаление, то ли тоска, а возможно, он просто таким образом обозначил время года на дворе.

Заверещал мобильник.

Это был Каша. Вместе с Мухой он искал срочной встречи со своим хоккейным дядькой.

14. Короче, Склифосовский!

Опустись же. Я мог бы сказать – взвейся.

Это одно и то же.

Иоганн Вольфганг Гёте. «Фауст»

Чего метаться? Я предложил другу, чтобы молодёжь сама подтягивалась к нам. Здесь тихо, уютно, и нет для знаменитой троицы сторонних, любопытных глаз и ушей.

– Свои проблемы обсудите спокойно, а я самовар поставлю.

На том и порешили.

Муху с Кашей, то бишь Сашу Мухина и Руслана Кашапова, я хорошо знал. Впрочем, их полстраны хорошо знала. Не так сказал. И они меня знали. Мы были весьма коротко знакомы. Ребята со своим дядькой не раз бывали у меня.

Прибыли они через полчаса. И не одни. Когда я открыл им дверь, то передним планом передо мной выписался широкоформатный, голубоокий портрет Сергея Афлисонова. Он заговорщицки улыбался, поглаживая свои светлые, вьющиеся, но довольно коротко остриженные волосы.

– А это кто такой? – сделал я шутейно удивлённое лицо. – Пригласительный билет есть?

– Есть, есть! – зашумели за его спиной Муха с Кашей. –

Пришли вот прикупить что-нибудь для частных коллекций.

– Тогда милости просим, господа!

В предыдущей главе я сказал, что мастерская моя расположена в старинном жилом доме. Не совсем так. Она разместилась в уникальном, 1912 года рождения, кирпичном двухэтажном строении, со сводчатыми потолками и высокими окнами, над каждым из которых чудом сохранившийся то вензель «N» в венке потёртой лепнины, то орёл, гордо раскинувший крылья, то четырёхзначная цифра, указывающая на юбилейную для Отечества дату – 100-летие победы в войне с Наполеоном. Но это к слову.

Мастерская моя – это не просто рабочее помещение художника, как может предположить непосвящённый читатель, а главная моя обитель и крепость. Здесь я могу укрыться от житейских дряг и невзгод, здесь меня посещает несравненная моя любовница – Её Величество Вдохновение, и я выдавливаю свои чувства на холст, и он начинает весело звенеть под ударами кисти; здесь я принимаю друзей, отдыхаю, здесь, под её торжественными потолками, у меня пропадают хвори и усталость, душа моя тут омывается живой водой замыслов, и я вновь и вновь возрождаюсь, обнаруживая новые цели и собирая новые силы для достижения их.

Мастерская моя, если уж свидетельствовать сухим языком ЖКХ, – это две просторные комнаты, прихожая, кладовая, клозет, душевая – все условия для творчества на втором

этаже дореволюционного дома: рай, одним словом, для художника – мольера, как говаривали во времена бомбардира Петра I.

Воссели в гостиной – в комнате, что попросторнее, поухоженней, где можно опуститься на стул, не боясь замарать штаны краской, и где запах всяческих красителей-разбавителей не бьёт в нос эстетам, а лишь тонко щекочет ноздри. Здесь у меня, посреди комнаты, разместился один из мольбертов со всеми своими причиндалами и только что законченной картинкой, по стенам небольшая экспозиция в рамках и без, полки раскинулись с нестройными рядами книг и статуэток; под ними, на подсобных столиках, – поделки, различные баночки-скляночки, кисти, а также коллекция сияющих золотом старинных самоваров самых разных мастей и калибров. У одного из окон большой овальный стол с самоваром, но уже электрическим. Вокруг стола и диванчик, и стулья для гостей, рядом достопочтенный дубовый сервант с резьбой по фасу. В рабочей комнате царит другая обстановка. Всё, как положено для мастерской живописца, – рабочий станок, подрамник с испачканным холстом, на столах, табуретах тюбики, кисти... Здесь невзначай и покраситься можно. Но оставим затрапезную, при гостях прикрытую створчатыми дверями комнату.

– Пряма-таки салон – не мастерская! – резюмировал, оглядывая гостиную и опускаясь в уют диванчика Афлисонов. Он у меня был впервые, хотя несколько раз и собирался

прийти «за пейзажиком для подарка» и время назначал, но, видать, пока не суждено было.

С Кашей он был на весёлом, светящемся глазу. Муха трезв, как стёклышко, видать, по внутреннему графику выпало быть «бобом», извозчиком, стало быть. Впрочем, он не злоупотреблял, относился к этому делу равнодушно и терпеливо, в смысле: терпел пьющих своих друзей. Ну, как пьющих? Сезон вот закончился, можно же немного расслабить свои нервы, которые практически круглый год струной в тебе натянуты.

Каша извлекал из спортивной сумки и громоздил на столе марочную выпивку и разнообразную снедь, приговаривая: «Проголодался как волк!» Я тоже достал из холодильника «смирновскую», запотевшую.

Без церемоний выпили. Каша с Афлисоновым махнули по холодненькой, я решил продегустировать гостинца – армянского коньячка, Буля с Мухой трезвенничали – оба за рулём, хотя мои друзья порой в самом начале застолья позволяли себе принять немного до обильной закуски, не взирая на свои шофёрские обязанности, которые у них при коллективных нарушениях режима чередовались по им одним известному графику.

– Ну, что, волки, – прервал молчание я, подняв глаза на свои картины, – а кто будет духовную пищу поглощать?

«Волки» и их златоуст и пропагандист, кряхтя, как старики, полезли из-за стола, подняли ясны очи на экспозицию и

пошли, переговариваясь, вдоль стен.

Свои картины на продажу в салоны и магазины я не ношу, вот так, друзья приходят, любители живописи, коллекционеры, заказчики, они в свою очередь новых жаждущих приводят...

Каша выбрал себе пейзаж с видом Волги. Небольшой мосток-причал, на перильцах которого сидит девчонка в смешном, длиннополом платье, мимо лодка гребёт против лёгких волн, вдали белеет парус одинокий, в сизой дымке другого берега брусничной капелькой опускается за горизонт далёкое, натруженное солнце. Реализм, с толикой наива.

Сергей Афлисонов положил глаз на берёзки в половодье. Говорит: «Прям надел бы щас сапоги, влез в раму и побрёл по талой воде меж красавиц белокожих».

Не торгуясь, ударили по рукам. Булатычу, понятно, не до покупок было. Но в обсуждении приобретённых друзьями полотен участвовал. Он тонко чувствовал живопись, об этом все хорошо знали, и Каша с Афлисоновым свои приобретения делали с оглядом на него. И здесь он – дядька! Я тоже ценю его мнение, люблю показывать ему свои новые работы, расспрашивать, пытаться: а эта вещь как тебе, а эта? Мне кажется, из него самого получился бы замечательный художник. Я же помню, как он рисовал в начальных классах. Не уступал мне. На уроках рисования мы с ним были вне конкуренции, и художник-учитель давал нам в отличие от всего класса особые задания. Однажды, на ботанике, где речь

шла о пестиках и тычинках, он взял да и набросал карандашом на отрезе ватмана одну из наших одноклассниц. Портрет её сделал. В полупрофиль. Сходство было поразительное. Это меня удивило, ошеломило, взвинтило, и я тоже стал рисовать карандашом, авторучкой, фломастером портреты одноклассников, родителей, соседей – всех подряд. Так и пошёл-поехал. А он – нет, у него рисование было так, для удовольствия. Ходу своему изодарованию он не дал.

– А это что за абстракционизм? – спросил Буля, подходя к дальней за стеллажом стене, на которой таились мои последнего времени (нельзя говорить «последние») работы, выполненные в отвлечённой от реалий форме.

– Это мой новый метод познания мира, – ответил я.

– И давно ты таким макарон мир познаёшь?

– Не помню уж, больше года, наверно.

– Смотри-ка, – хмыкнул Буля, – скрытный ты всё-таки парень.

– Да я вообще никому ещё не показывал. Рановато. Вот вчера повесил несколько картинок вместе, хотел через денёк отстранённым глазом посмотреть... А тут вы...

– А ведь интересно! – понимающе покачал головой подошедший за Булей следом Муха. – Особенно вот... девушка с часами вместо глаз или вот эта – разноцветные кружки по голубому квадрату...

– Это не кружки, а шайбы на хоккейной площадке, – сострил не отставший от друзей Каша.

– Ты же академию закончил! – воскликнул с укоризной в голосе Буля.

– И что? – возразил я.

– У тебя же классическое художественное образование...

– Я считаю, к абстрактному мышлению в живописи только после классики и можно перейти. Точней, имеешь право. И не только в живописи.

– Твоя же дипломная работа была особо отмечена академиками. Рыбачка там ещё, как живая, в лодке с сыном... Где она, кстати?

– Самовар вон вскипел, – остудил я пыл разошедшегося друга, – заваривай свой живой чай.

Махнул Булатыч рукой и пошёл к самовару. К абстрактному искусству у него было отношение сдержанное, хотя сам всю жизнь занимался весьма абстрактным делом – хоккеем.

Поколдовав над маленьким заварочным чайником, он разлил всем по чашкам-кружкам чай, произнося своё неизменное:

– Жизнь чая живого всего десять минут.

Сел на край диванчика, принялся, причмокивая, со вкусом тянуть горячую жидкость, обжигаясь и полуслушая трёп подвыпивших друзей по поводу приобретённых картин. Каждый расхваливал свою покупку, свой абсолютный вкус, который позволил сделать безошибочный выбор. Булатыч слушал, слушал и вставлял:

– Что ж вы дамочку не купили с часами вместо глаз?

– Не всё сразу, – ответил Каша, ласково взглянув на своё приобретение – лодочку на Волге. Неспешно взял бутылку «смирновской», покрытую алмазным бисером, будто содержимое наружу стекла в холодильнике проступило, разлил пьющим, минуя воздерживающихся, подумал, продолжил: – Художник должен быть разнообразен, поднимем же за ма-а-астера, за его неувядающую живопись, которая радует глаз, греет душу и не стоит на месте. – Выпив, он стал рассуждать о скоротечности спортивной жизни и о расцветающем с каждым новым периодом времени, невзирая на возраст, мастерстве художников, писателей и прочих композиторов творческих профессий.

– Чем дальше в жизнь, тем выше у них мастерство. Не то, что у нас, краткосрочников. Не успел разогнаться-разыгаться, а уже за бортом...

Его перебил Муха:

– Короче, Склифосовский, зачем мы сюда пришли, слушать твои лекции?

– Гм-м, да... – осёкся Кашапов и потянулся к дядьке: – Понимаешь, Булатыч, завтра ведь это самое... – Он кивнул на Афлисонова. – Нашего Серёжу кончать будем.

– В смысле?

– В смысле... Организованно, всем табором.

Опять вмешался трезвый Муха. Он объяснил, что завтра с утра назначено общее собрание команды, на котором все «волки» должны будут подписать какую-то бумаженцию с

требованием удалить Сергея Афлисонова из комментаторской рубки.

– А почему я не знаю? – поинтересовался Буля.

– Тебя же не было, отпрашивался, – ответил Муха. – Установка: подписать! И всей стаей, как один.

– А то, – набычился Каша, – как же без помощи команды справиться?! Великолепный тактический ход придумал Ломоть. Ох-ох, говорят у нас на Вятке, много в нём блох.

Афлисонов вылез из кресла, заходил по мастерской кругами:

– Какое он имеет право? Ломоть проклятый! Его дело командой командовать, а не журналистами. Тоже мне, многоборец нашёлся!

Высказавшись, он опять повалился в объятия диванчика и притих. Зрачки в его голубых глазах то ли от выпитого, то ли от пасмурных дум, словно бы растворились, они сделались светлыми-светлыми и большими, и он моргал, как слепой или очень обиженный человек. Всегда напористый, уверенный в своих силах и правоте, он тут, в мастерской, сидел, как пришибленный.

– И что, будете подписывать? – после некоторого молчания тихо спросил он.

– А куда мы денемся! – вздохнул Муха, добавляя себе в чашку из самовара кипятку. – Рычагов воздействия на нас у Ломтя со Сватом, сам знаешь, хоть отбавляй.

– Проклятый Лом! – стал медленно закипать свекольно

покрасневший лицом и шеей Руслан Кашапов. – Откуда он взялся на нашу голову? Я ему морду набью.

– Этого только не хватало! – наконец подал голос наставник молодёжи, дядька Равиль Булатов, которого, я заметил, молодые друзья и партнёры по фабрике труда Булей вне хоккейной площадки больно-то не называли. – Во сколько собрание?

– В десять, – ответил Муха. – Мы сегодня там были. Ребята в глаза друг другу не смотрят. Зато Лом важный ходит, грудь колесом.

– Как всегда! – вполголоса прорычал пылающий огнём Каша. Он наполнил рюмки и опять повторил свою мысль, только другими словами: – Нет, определённо у него сдвиг по фазе, короткое замыкание в башке, его надо срочно заземлить.

Булатыч неожиданно для всех рассмеялся и по-отечески ласково сказал:

– Откуда ты, Каша вятская, электрических терминов нахватался? – И не дожидаясь ответа от аппетитно захрумкавшего после рюмашки солёным огурцом партнёра по звену, сказал уже серьёзно: – Давайте, ребята, не хорохорьтесь, не ломайте свои коньки. Всё нормально будет. А ты, Серёжа, не раскисай раньше времени.

Серёжа Афлисонов, выпив, не закусывая, и обездоленно уронив холёные кисти рук с подлокотника диванчика, без всякого выражения в своём комментаторском голосе произнёс:

– Один умный человек сказал: настоящее счастье в том, чтобы беспрепятственно применять свои способности, в чём бы они ни заключались. А как мне теперь применять свои способности, когда ни с того ни с сего такой облом.

– Да, об-Лом... – поиграл словами Муха.

Но Афлисонов не обратил на это внимания:

– Вон, – кивнул он в мою сторону, – хорошо Марату, натянул холст на подрамник, взял кисточку, обмакнул в краску и применяй свои способности, сколь душе угодно. И никаких тебе препятствий, локтей, Ломтей, Ломов, обломов... Мастерская художника – это тебе и остров свободы, и неприступная крепость. Неприступная для начальствующих самодуров и всяческих претензий ихних и капризов. А комментаторская кабина... От кого только она не зависит! Не понравилась вот моя трескотня Лому, и привет тебе, Серёжа Афлисонов, собирай манатки, эвакуируйся, микрофончик только не забудь другому передать. Теперь вот мне как применяться, дома в унитаэ вещать?

– Кто же у нас из телеведущих, как ты есть-то?! – недоуменно спросил Каша. – Кому ж микрофон передать? Не вижу окрест достойного.

– Найдётся...

– Говорю же, не паникуй, – прервал тележурналиста Равиль. – Тебя ведь поддержали на пресс-конференции. Солидные люди, организации... Значит, ты прав.

– И что из этого?

– А это главное.

– Да, самое главное, – подтвердил я, – быть правым. А уж твоя возьмёт или нет – это не так важно. Победённому порой лучше.

– Тебе легко философствовать с перспективой рисовать себе в своё удовольствие до глубокой старости, – обиделся Афлисонов.

– Марат, ты и в самом деле немного не в ту степь... – заметил негромко Равиль. – Понимаю, хорошая память и армянский коньяк в придачу, но сейчас не надо...

Не люблю нравоучений и всегда даю отпор всяким морализаторам, но пораскинув в той ситуации мозгами, я не стал затевать словопрений. Видать, сила инерции просто выплеснула на бедного Афлисонова что-то недосказанное и не совсем уместное тут. Хотя, что бедного-то? Всю жизнь процветал, и ветер постоянно дул в его развёрнутые паруса, и он нёсся по жизни, не оглядываясь и не встречая на своём пути ни рифов, ни отмелей, но вот первый же подводный пупырь, царапнувший днище его корабля, привёл в замешательство баловня судьбы, и в мозгах его произошёл опасный крен.

– Ладно, утро вечера мудренее, – решил подытожить разговор цвета варёного рака Руслан Кашапов. – Сказал же Булатыч, что всё будет нормально, и не переживай.

Но раньше недопитых бутылок сделать это не удалось. Разъехались, когда майские сумерки прихватили рощицу под окнами мастерской и когда с ранних, чистых трав при-

овражья поднялся густыми прядями туман.

Живописные покупки свои, с любовью выбранные и словесно оплаченные, взять с собой друзья позабыли.

15. Неподписанты

Ave, mare, morituri te salutant!

*Здравствуй, море, тебя приветствуют
обречённые на смерть!*

Латинское изречение

Булатов «петицию» не подписал. Возрастной контрактник, который отработал свой контракт на льду и знал, чем это ему грозит при подписании нового, на собрании, где Лом, наверное, впервые в жизни показательно и устрашающе разбушевался, не перестроился и себе не изменил. До этого, утром, он ещё раз предупредил своих молодых друзей, чтобы те не дурили, и без них всё обойдётся. Булатов не переоценивал себя, но здраво считал: без его подписи «петиция» потеряет свою убойную силу. Однако Каша с Мухой не послушались. Подписание шло в алфавитном порядке, и после конфуза с Булатовым, когда список дошёл сначала до Каши, а затем и до Мухи, друзья, как и их дядька, поочередно заартачились, плюс ещё четверо, и Ломова акция провалилась.

Не то чтобы вся команда перестала подписывать фабрику (смельчаков оказалось всего семеро), – сам Лом не выдержал, психанул – схватил своё сочинение (или кто там

из них был сочинителем?) и шумно, роняя стулья, ринулся вон с собрания, ахнул дверью, Ледовый дворец содрогнулся. Серый за ним. Это всё после слов Каши, который встрял в момент нажима на Муху, бесхитростных слов его о разделении полномочий: хоккеисты должны играть, тренеры – тренировать, а журналисты – писать, вещать, в общем, трезвонить на весь мир.

– И чего соваться в дела журналистские? У нас на Вятке говорят: не шевель чужой щавель.

– Умник нашёлся! – только и прохрипел глухо Лом в ответ перед тем, как разметать стулья и хлопнуть дверью.

За столом триумвирата остался один поблёскивающий родинками пота на зеркале просторной лысины Сватов Геннадий Васильевич, генеральный менеджер клуба. Он не знал, что делать, сидел, опустив свои лохматые брови так, что не было видно глаз. Потом, помедлив, в нерешительности объявил перерыв. После затянувшегося тайм-аута, до одури наслонявшись по Ледовому дворцу и вокруг него, обратно на собрание хоккеисты так и не собрались. Лом в тот день куда-то пропал, и Сват, посоветовавшись с вернувшимся Серым, отпустил «волков» домой.

Такое не забывается. Я говорю о Ломе. Конечно, и Буле этого не забыть, но в данный момент я в первую очередь говорю о тогдашнем главном тренере «Белых Волков». Если уж Лом, которого не раскатать было никаким провальным поражением на дворцовом льду, распсиховался, то, зная его

злопамятство, в скором реванше за поражение на собрании можно было не сомневаться.

– Ну, теперь держитесь, – размышлял вслух Каша, прогуливаясь с друзьями-повстанцами по набережной. Был тёплый, солнечный день второй половины мая. Акварельной чистоты небо всей своей синевой отражалось в устье пересекавшей город и высоко поднявшейся реки.

– Дер-жи-тесь... – передразнил его Муха. – Ты чё там раздухарился-то?! Кому нужны были твои комментарии, твой этот щавель? Не подписал – и не подписал. Молодец. Или вчерашний хмель из твоей башки ещё не выветрился? Понятно, у него же контракт этим сезоном не завершается...

– Подумаешь, высказался, – перебил друга Каша, – главное же, мы все втроем да ещё Хаки со Штоком, да ещё Кирюша с Южкой выступили заодно и уберегли Афлика. Насчёт вчерашнего... то в мастерской у меня, замечу, ни в одном глазу по-настоящему и не было. И зря ты это... о контракте... Я и не думал.

– А надо бы.

– Что?

– Думать.

– Валите всё волку на холку...

– Хватит вам, – поморщился Буля, – как дети малые, – и кивнул на нас с Афлисоновым, топающим к ним в неведении о результатах боя с Ломом и его подвижниками.

Подходя и здороваясь, я спросил:

– Как дела, серые?

Каша вкратце поведал о ходе собрания, о неожиданном его финале и поинтересовался моим мнением:

– Что бы это значило?

Ответ дал Муха, упорно ковырявший кроссовкой трещину в асфальте:

– Лом своего и без наших подписей добьётся, а с нами, – поднял он свои пуговики глаз на моего друга, – а с нами, дорогой Равиль Булатович, он распрощается. Контракта на следующий сезон не заключит.

Серёжа Афлисонов убито молчал – переживал, что он всему виной. Каша оптимистично что-то доказывал, я ситуацию недопонимал и предложил обмозговать положение дел в спокойной обстановке, у меня в мастерской.

Мрачный Муха с убитым Афлисоновым ехать ко мне отказались. С Мухой понятно, кроме работы у него ещё две любовницы, и он разрывается между ними. Каша вдохновился, Равиль заторможено соображал. В итоге мы на «дядькином» джипе втроём покатали ко мне в мастерскую.

По дороге завернули к приятелю, тоже художнику, у которого я должен был забрать подрамники.

Мастерская его – нонсенс для художников – скрывалась в мрачном полуподвале девятиэтажного дома, который, врежаясь во взгорье, превращался то ли в семи-, то ли в шестиэтажку. Мой друг-приятель занимался кроме всего прочего скульптурой (площади мастерских в том доме были отведе-

ны только для ваятелей). Городские власти, наверное, посчитали: видеть свои произведения скульпторам необязательно, камень тесать и в полумраке на ощупь можно.

Я предложил заглянуть к дружку. Когда ещё они живого ваятеля увидят?

Оставив джип-машину у подъезда, мы гурьбой шагнули из солнечного майского полудня в тёмный проём распахнутой двери мастерской. Шедший первым, я бросил в полутьму:

– Привет труженикам кисти и штихеля! – И не получив ответа, окликнул: – Кузнец, ты дома? Тагир, ты дома, говорю?

Из мглы и тишины навстречу нам выплыла просветлённая после утреннего возлияния небритая физиономия моего друга-ваятеля. Чёрный, как смоль, чуб, воронёные брови, щетина, взгляд антрацитовых угольков исподлобья, но добрый, приветливый, и рот до ушей:

– О-о, я месяц человек живых не видел!

Глава третья

16. По блату Харламовым не станешь

То, что кажется лишённым смысла, порой имеет глубокое значение.

Морис Эрцог. «Аннапурна»

Тагир, по прозвищу Кузнец, обожает хоккей, всю жизнь собирается пойти со мной на какой-нибудь матч, но из-за своей неорганизованности до Ледового дворца так и не добравшись, винит во всех смертных грехах меня и следит за «волками» по телевизору.

Он, как всегда, рад мне, рад именитым гостям, которых сразу узнаёт и приглашает пройти в свой заповедник. Творческий и бытовой беспорядок в мастерской – это его порядок. На стенах картины, на стеллажах и подоконнике – скульптурные бюсты, литые фигурки, инструменты, различные банки, кисти в них... На столике о трёх ногах закрытого мольберта – до блеска очищенная палитра. На круглом, бытовом столике – початая бутылка водки, пиво, взрезанная банка кильки в томатном соусе, в кресле – раскрытая книга, в закутке, в ногах топчана, – белёсо тлеющий телевизор.

Тагир, безмерно талантливый живописец и скульптор, книгочей, эрудит, выпускник знаменитой Строгановки, за-

поем работает, запоем читает, и всё остальное тоже запоем. От этой всезапойности вся его творческая жизнь малопродуктивна. В смысле – продуктивна, если говорить о качестве, но мало, если иметь в виду количество. То есть продукцию свою он выдаёт на белый свет поштучно и никогда не тиражирует. Манере его ваяния и живописи я мог бы посвятить полкниги, но и этого мизерного отвлечения, связанного с ним, простит ли мне нетерпеливый читатель.

Но отвлечение это имеет своё значение. После знакомства моих разношёрстных друзей в тагировской мастерской последовало, на первый взгляд, походя брошенное признание Тагира, которое для меня не явилось откровением, но которое заставило взглянуть на многое другими глазами. Тагир сказал мне тогда:

– Я думал, хоккеисты дальше своих клюшек ни черта не видят и видеть не хотят. Захаживал ко мне один superstar, ещё в Москве, когда учился, – мат-перемат, нормального слова не услышишь. А Буля твой, да и Каша тоже – это же интеллигентные ребята.

Со времён Строгановки у Тагира была привычка при знакомстве хлопать нового знакомого ладонью в плечо. Даже не хлопать – врезать пятернёй кузнеца и ваятеля в предплечье или в грудь ничего не подозревавшего, а потому и расслабленного человека. Ростом он был невелик, но всей своей волжско-булгарской статью кряжист и силен. После такого знакомства у него сразу появлялись новые друзья или враги.

Он и меня таким образом чуть с ног не сшиб, ещё до Строгановки, в художественном училище. В ответ получил точно такое же приветствие. Размахались мы тогда – кое-как нас однокашники разняли. С тех пор и дружим.

В плечо Равилю Булатову он хлопнул не так сильно. С утра, видать, не совсем оклемался, а может, настроение было несоответствующим бурному знакомству – лирическое, философское... Усадил дорогого гостя в кресло, в котором лежала раскрытая страницами вниз выдавшая виды книга, на картонной, пообломанной обложке которой значился: Доктор Эрнжен Хара-Даван. «Чингисхан как полководец и его наследие».

Буля улыбнулся. Тагир заметил и спросил:

– Читал?

– Конечно.

– А знаешь, откуда происходит его имя? – спросил Тагир.

– В общем-то, это титул, – помедлил Буля. – И состоит он из двух частей: «чингис», или «тенгис», и «хан». Первая часть переводится как «море-океан». А у второй несколько толкований. Привычное – правитель, князь... Но «хан» ещё переводится и как «кровь». Кстати, древнее название озера Байкал, откуда родом предки Тимучина, было как раз Тенгис. Так что, всё тут сходится.

– Этого в книге нет, – заметил Тагир. – Я думал...

– Как Ян, что ли?

– Ну, нет. Василий Ян – это чистой воды враньё. – Я поду-

мал... – Тагир хитро улыбнулся. – Я вспомнил, что Рудольфа Нуриева называли Чингисханом балета. Ну а тебя сам бог велел называть Чингисханом хоккея.

– Брось! – махнул рукой Буля. – Я серый волк хоккея, если уж на то пошло.

– Белый, – поправил Тагир.

Тем временем Каша разгуливал по мастерской и разглядывал картины, рельефные, бугристые от обилия наложенной на холст краски, трогал выпуклости, приговаривая:

– У скульптора и живопись скульптурна.

Я взял кипу газет и, пошелестев немного, наткнулся на интервью с Булей, что меня при его популярности ни чуть не удивило, но обрадовало своевременностью появления у меня в руках. Оно было украшено его боевой фотографией, испещрено карандашными пометками, а два абзаца аккуратненько подчёркнуты. Я протянул газету Каше, который тут же те два отмеченных абзаца прочёл вслух и в лицах:

– Скажите, Равиль Булатович, хоккей – это работа, игра или что? Ответ: «Это творчество. Из всего известного нам живого мира только человеку дано сочинять стихи, музыку, писать картины и гонять шайбу». Журналист: «Но это, если откровенно, каторжный труд!» – «Притом с младенчества, – добавляет Булатов. – Как пианист, как скрипач, ты должен ежедневно над собой работать. По благу ни Рихтером, ни Харламовым не станешь. Конечно, за большие деньги сегодня можно и на Луну слетать, и в открытый космос выйти,

но не на лёд большого хоккея».

Каша отложил в сторону газету:

– Во как!

Булатыч поморщился и заметил:

– Тебе бы, Каша, в драмтеатре выступать.

– Точно, – протянул в задумчивости мой эрудированный Кузнец, наполняя гранёные стаканчики водкой. – Это интервью, эта мысль... Почти по Шиллеру. Недавно вот у него, как будто специально к сегодняшнему разговору, прочитал. Не совсем дословно: в игре проявляется природа человека как творца, как созидателя красоты. Вообще, он считает, что игра – путь к красоте. И даже круче заявляет: не путь, а суть. Суть красоты.

– Как это? – не понял Каша, отрывая взгляд от очередного тагировского шедевра на стене мастерской.

Вопроса Тагир не услышал:

– Я вот что сперва грешным делом подумал насчёт этого интервью: за тебя, мол, там, Равиль-абзый, во всю журналист постарался. Свою концепцию от твоего лица выдал.

– Да, не-е... – возразил нехотя Буля. – Об этом я ещё сто лет назад задумался. После слов о хоккее одной политикессы. По телевизору, значит, она: десяток взрослых бугаёв в рыцарских доспехах с большой озабоченностью гоняют по льду что-то наподобие чёрной баночки из-под сапожной ваксы, и тысячи с виду нормальных людей за свои кровные деньги с ненормальным энтузиазмом переживают за них. При-

мерно так.

– Они все о нас одинаково думают, – поддержал дядьку Каша, подходя к овалу стола. – Вот, мол, дебилы, а деньгу зашибают... Ну, чем вы тут нас потчуете?

Словно бы в ответ Тагир окинул взглядом стол и собравшихся вокруг него, поднял стопку выше головы:

– За хоккей как одно из наивысших проявлений культуры человека!

– Честно? – переспросил Каша.

– Совершенно. – И осушив стопку, заключил: – Только человеку дано заниматься бесполезным.

После паузы он неспешно, но железно (всё-таки Кузнец!) пояснил свою мысль:

– Речь, повторяю, идёт не о хлебе и зрелищах, а о хоккее и других спортивных играх как о высоком искусстве. Я уважаю хлеборобов, сталеваров, ткачей, поваров, кулинаров, но их земной труд абсолютно рационален, полезен, зрим, его потрогать можно, взвесить, надеть, съесть, в конце концов! Но человека человеком делает не целесообразность, а поэзия. Да, она самая, которой в своём роде является и хоккей.

– Точно! – согласился Каша. – Мы с тобой, Равиль-абый, тоже, значит, поэты, понял?

– Большой хоккей – это всё-таки живопись, – попробовал вставить и я своё суждение. – Не зря же вот говорят, например: рисунок игры, чертить узоры на льду...

Но меня перебил Булатыч. У стола он один не притронул-

ся к гранёному стаканчику с водкой и закуске, лишь из огородной зелени, воткнутой в виде букета в пол-литровую банку, вытянул кустик укропа и тем самым участвовал в застолье.

– Нет, – возразил он, – хоккей – это и не поэзия, и не живопись. Поэты... Это свободные люди. А мы – рабы. Мы все в цепях контрактов, в подчинении у тренеров, начальников, администраторов, нас могут отчислить из клуба, продать, обменять, отдать в аренду...

Мы с Тагиром дружно возразили, вразнобой закричали:

– Хоккей на белом льду, как поэзия на чистом листе бумаги...

– И вы в ней поэты высшей пробы!

В дверь постучали...

17. Елена

Ecce femina! Вот женщина!
Латинское изречение

Это был Амстердам. Тоже художник. И как всегда не один – с очередной своей пассией.

Этот парень, что касается художественной выразительности, колорита, да и вообще в целом, наверное, самый своеобразный и одарённый живописец в нашем околотке. Разумеется, любой из нас по-своему тоже неповторим и что-то

из себя представляет. Но Амстердам безусловный лидер. Во всём. И в творчестве, и в бизнесе, и в сколачивании всяческих живописующих студий, объединений, в организации разнообразных выставок, шабашек, а также в любви и всевозможных приключениях и авантюрах.

Его настоящее имя Андам, но друзья зовут его Амстердам. Надо признать, у художников прозвища в порядке вещей. Они даже обязательны. Нет художника без прозвища. Это тебе ни какие-то писатели или композиторы. Каждый художник имеет общепризнанную кличку. Кого только нет среди них – и Цари, и Пастухи, и Кайоты... Похлеще, чем у спортсменов. Вообще, художники среди творческих союзов по многим позициям в безусловных лидерах. Например, кто самый пьющий народ? Да, точно, художники. С ними и писатели даже не могут соперничать, не говоря уж о композиторах, артистах и прочих гармонистах – творцов гармонии, стало быть.

Но Амстердам не производное от имени Андам. Андам около двух лет прожил в Голландии, в Амстердаме, при Доме-музее Рембрандта. Вот и стал наш Андам Амстердамом. Кстати, в стране тюльпанов его признали сразу. Старушка-директриса музея в нём как в художнике, юном, даровитом, подающем обоснованные надежды, души не чаяла. Он там рос и мужал вблизи рембрандтовых полотен, бок о бок с его духом, витавшим в особняке, в котором великий живописец жил и творил несколько веков назад. Андаму там и

остаться предлагали, и невесту подыскали, но он вернулся. С полными карманами валюты. И полгода весь наш художнический бомонд слушал его рассказы о жизни в самой раскрепощённой стране мира, о тамошних его любовях, марихуане, кифе, маджуне и прочих бодрящих сигаретках и конфетках, о фантастических заказах, выставках, о проданных и просто так оставленных в дар картинах и бесппроблемно пил-гулял за здоровье вернувшегося из рая друга.

Хотя порой Амстердама из-за его длинноватого острого носа называли Буратино. Но не так часто.

По натуре Амстердам добр, но вообще-то и зол одновременно. Что поделать, Близнец по гороскопу. Родился он в самом гнилом районе города – у Колхозного базара. Прибазарное детство наложило свой отпечаток на его характере и поведении. Разжёвывать не буду, прочтёт – обидится. А вот творчество его донеслось до сегодняшнего дня родниково чистым и не расплёсканным. Удивительно. В общем, я заметил: нередко художники (имею в виду и поэтов, и композиторов...) по земному образу и подобию своему не соответствуют своей творческой красоте и выразительной силе. Можно даже круче сказать: являются антиподами друг другу, то есть самим себе.

Одевается Амстердам небрежно, даже неряшливо. Пришёл в замызганном свитере, из-под которого светлая рубашка, как у бабая, чуть ли не до колен. Снял ботинок и засветил голый пяткой сквозь лунку дырявого носка. Тагир дал

ему шлёпанцы, напомнив, что в мастерской у него не разуваяются. Это он, скорей, для новых гостей сказал, чтобы те в своей обуви не чувствовали себя из-за босого нашего друга неудобно. (Сказал и скрылся в «кухонке», за ширмой, где у него закипал на электроплитке кофе.)

Спутница Амстердама – нет, не просто очередная девка, как первоначально подумалось, а видная, молодая женщина, лет двадцати пяти, с беломраморной, будто подсвеченной изнутри, античной шеей, высокой, тугой грудью, округлыми плечами под ляпочками лёгкого платья в полосочку, – не стесняясь, будто сто раз бывала в этой мастерской, прошла к нашему гусарскому столику с водкой, килькой и укропом, опустила в предложенное ей (освобождённое Кашей) выдавшее виды кресло и заложила гладкую, такой же светящейся мраморной основы, как шея, ногу на ногу.

Откуда у этого неопрятного типа такие женщины, одна краше другой? Таким вопросом задавался не я один. Понятно, он довольно высок ростом, пригляден лицом – тонкие черты, открытая, белоснежная улыбка, чуткие, слегка раскосые глаза, – смел, красноречив, зазывает «красоту невиданную» к себе в мастерскую попозировать, а там уж красавицам устоять перед его льстивыми устами и кистью проблематично.

Я исподволь наблюдал за гостьей.

В правильном овале лица её под тонко очерченными полукружьями бровей покоились светло-карие, ореховые гла-

за с неспешно читающим нас взглядом. У неё была короткая, отливавшая цветом красного дерева стрижка. Она в самом деле являла собой поразительную красоту. И я не удивился, когда гостья при нашем общем знакомстве назвалась Еленой. Почему не удивился? Да потому что хорошо знал греческую мифологию, по которой дочь Зевса Елена была прекраснейшей из всех смертных женщин на свете.

– Да, Еленой, – повторила она и улыбнулась своими полными, сочными губами в алой помаде.

– Прекрасной!.. Еленой Прекрасной, – уточнил Амстердам, не представивший её нам сразу, будто пришёл с собачкой какой-то на верёвочке. Или он не мог предположить, что в мастерской друга неожиданно окажутся сразу несколько Аполлонов Бельведерских? Опешил? Хотя не из тех он... – Кстати, она тоже художник, – проинформировал Амстердам милостиво. – Чудесный портретист и мастер пейзажа. – Была такая черта характера у него – он всех и вся хвалил, даже художников, что от слова «худо» происходят, даже в безнадежных делитантских работах умудрялся он находить что-то положительное и обнадеживающее.

– Э-э, – протянул Тагир, появившийся с выдавшим виды кофейником в руке, – а я-то не понял с бодуна: ты ли это, Лен?

– Кто ещё! – миролюбиво усмехнулась гостья. – Надо же, однокурсников не узнаёт!

– Да, друзья мои, это Анисимова Лена, собственной пер-

соной. Мы вместе с ней в нашем училище три с половиной года краски мешали, холсты марали, а потом в Москве в Строгановку поступали, хотя, что вспоминать... – Тагир за-
пнулся и перевёл разговор на кофе: – Чувствуете аромат? Это же настоящий, бразильский, в зёрнах...

Тут надобно пояснить, почему я, будучи художником, не знал её, тоже художницу. Дело в том, что и она, и Тагир-кузнец, и Амстердам значительно младше меня и моего одноклассника Булатова. Они одно поколение, мы – другое. Они по возрасту к Каше ближе. И ещё надо пояснить, почему при упоминании Строгановки Тагир замялся. Да потому что (это выяснилось позже) Тагир-то в Строгановку поступил, а она нет. Два раза поступала и два раза срезалась. Так и осталась с училищным образованием. На коллективных выставках работ её не видеть было, на персональных – говорить не приходится, в Союз художников её, естественно, не принимали... И ничего удивительного, что она оказалась вне поля моего зрения.

Я посмотрел на неё внимательнее. Нет, всё-таки я видел её раньше, встречал где-то – то ли в училище, куда с годами тропа моя не заросла, то ли на какой-то выставке. А возможно, мне уж стало казаться, что вижу её не впервой. Так бывает после неотрывного профессионального разглядывания, а быть может, и необязательно профессионального, а просто красивая женщина порою порождает эффект, будто ты её когда-то непременно встречал на своём пути.

Кофейник оказался маловат, Тагир поспешил заварганить новую порцию, зацепив по дороге Амстердама и кивнув на наш полон яств стол: не мешало бы его освежить.

– А то как-то неудобно...

Амстердам стал возражать, мол, он уже полтонны принял на грудь, но доводы Кузнецца оказались весомей: не каждый день у нас здесь, в мастерской, собираются чемпионы мира и гениальные голландцы.

– А кто чемпионы мира-то? – высокомерно повёл своим острым, как у Буратино, носом Амстердам. – Равиль Булатов вот – да, знаю, не отнимешь... А кто ещё-то?

Но Тагир в хоккейных делах разбирался лучше.

– Руслан Кашапов – тоже чемпион мира! – процедил он сквозь зубы. – В составе молодёжной сборной...

– А-а, молодёжной! – перебил его Амстердам. – Ещё детскую команду вспомни? Я вот, например, за сборную школы играл... – Но это «голландец» молвил уже за дверь мастерской, подталкиваемый Тагиром к двери подъезда.

– Дай, хоть ботинки натяну. Да и не хватит у меня тут... – Андам вытащил из кармана скомканные деньги, принялся пересчитывать...

Возня друзей у двери осталась незамеченной разве что Еленой. В итоге с Амстердамом в магазин увязался Булатов.

А мы, оставшиеся в ослепительном сиянии прекраснейшей из смертных, разговорились не о живописи, не о красоте, спасающей мир, а о хоккее, хотя в нашем кругу красота и

спорт не противопоставляются. И завернули мы в чисто хоккейное русло не по своей воле – именно она зарулила, большая, оказывается, любительница, можно даже сказать – знаток этого вида искусства. И Булю, и Кашу она прекрасно знала. Знала их номера, амплуа, статистику, припомнила кулачные бои, штрафные удаления... Весело так, живописно припомнила. При неподдельных словах уважения к настоящим ледовым бойцам, которые, по её мнению, и в жизни должны быть людьми мужественными, Каша, не сводивший с красавицы восхищённых глаз, приосанился.

18. Чёрная гиря

От природы Каша бесхитроsten и даже прямолинеен. Порой ему промолчать бы или сказать нейтрально, так нет, встрянет со своим извечным «как это?» или «не понял?», и всё сам себе же испортит. И на хоккейной площадке лезет на рожон, не переставая греть скамейки штрафников. Кто бы в послематчевых газетных отчётах вспомнил о его гипертрофированном чувстве справедливости, нет – наперебой и с каким-то упоением подсчитывают его штрафные минуты. Надо признаться, наша спортивная журналистика поверхностна, труслива, продажна и к тому же бездарна. И не только спортивная. Есть два-три пера на всю страну, и то они журналистикой занялись постольку поскольку, не имея специального образования, но зато, имея что сказать, то есть

идеи. Да, без путеводной звезды журналистика, как и художественная литература, пустое дело.

Гонцы притащили полную спортивную сумку всякой всячины. Сумку Буля взял по пути из своей машины, и с Амстердамом они отоварились так, будто собрались свадьбу справлять.

Амстердам, паясничая, извлекал из неё всевозможные красочные бутылки, банки, баночки, свёртки, остроумно комментируя, почему приобретено именно это, а не иное. Шут гороховый! А может, артист? Кому как. Но порою определённо – шут. Правда, талантливый, серьёзно талантливый в своём главном деле... Я тоже близнец и тоже раздваиваюсь, меняюсь, но не настолько же... Укус на сметане. Другого сравнения не придумаешь.

А он уже тем временем жонглировал двумя банками консервов и бутылкой вина, не замечая, что его пассия давно его не замечает. Она смотрела в серо-голубые, удивлённые глаза Каши и что-то оживлённо говорила. Они стояли в дальнем углу мастерской, у картины заиндевелого леса, и глаза самого зверского «волка» были по-детски ясными и кроткими. Она говорила, а он моргал своими акварелями, и они становились всё более светлыми и послушными. В смысле, он слушал её глазами и кивал, кивал... Она повторила ему что-то, а он не понял. Он был в состоянии лёгкого нокдауна.

Амстердам, наконец, оставив циркачество, подошёл к ним:

– Чемпион, закрой рот – ворона залетит.

Каша повёл вмиг отрезвевшим взглядом по мастерской, взял двухпудовую гирю, служившую Кузнецу рабочим прессом, молча отжал её десять раз и успокоился. Получилось это у него так, между прочим, без засучивания рукавов пиджака. (Он единственный здесь был в цивильном костюме.)

Остроумный Амстердам лишился дара речи, затем подскочил к гире и на силе душевного порыва вскинул её двумя руками на грудь. Помедлил немного, чуть присев, попытался толчком вскинуть над головой, но чёрная, чугунная груша оказалась неподвластной утончённым рукам живописца. Она остановилась чуть повыше головы на согнутой, как кочерга, руке. Амстердам тужился, кровь бросилась в его всегда бледное лицо, но гиря идти вверх больше не желала. Из уст нашего атлета вырвался злой крик, и несговорчивый снаряд с треском опустился.

– Пол не проломи, – более других развеселился Тагир. Смешок его был негромок, но с ехидным похрюкиванием. Он ещё добавил: – Это тебе не кистью махать!

– Кто бы говорил! – взвился Амстердам. – Сам художник... И сам же...

– Я не художник, я – кузнец.

С этими словами Кузнец подошёл к гире и два раза толчком вознёс её над своей смоляной, буйной макушкой.

Каша благодушно ухмыльнулся и понимающе произнёс:

– Сила!

Алые губы прекрасной Елены тронула еле заметная улыбка, ничего не означавшая, никого и ничего не оценивавшая, но Амстердам оценил её по-своему:

– Сговорились! Спелись! Я-то думаю, что за тяжесть в воздухе висит, не распрямиться, не продышаться. Вот прямо грудь давит. Нет, я больше здесь не могу. – Он рванул ворот свитера и, разевая рот, как рыба, выброшенная на берег, выбежал из мастерской.

– Что это с ним? – спросил Каша. – Обиделся, что ли?

Я ответил: с Амстердамом такое бывает, через пять минут остынет и вернётся.

– Не надо было тебе оценивать, – сказал Каше Буля, – кто сила, а кто не очень.

– Я же без задних мыслей... А он точно вернётся?

– Ровно через пять минут, – уверил Кузнец.

Амстердам вернулся через час...

19. Пошли со мной

...какой-то поникший и совершенно трезвый.

– А-а... вы ещё не ушли! – обвёл он нас усталым взглядом и остановил его на Кузнце. – Ты мне нужен был.

– Я помню, помню, – живо отозвался тот, подразумевая что-то одним им известное. – Это два дня работы, не волнуйся, давай лучше по стопочке, мы уж тут, в кузне, исперевивались, куда тебя ветром сдуло? – И ловко наполнил гра-

нённые стаканчики.

– Да, сквозняки, чёрт возьми! – это Каша. То ли пошутил, то ли что.

Я взял в углу мастерской жердину и с её помощью захлопнул форточку, чтобы больше никого не сдувало из «кузни».

Амстердам опустил глаза на свою стопку, затем поднял на Елену, протяжно посмотрел в её невозмутимые ореховые глаза и почти шёпотом произнёс:

– Пошли.

– Куда? – спросила она также тихо и настороженно.

– Со мной.

– А мы все ко мне домой собрались, – заметил Тагир. – Ждали, ждали тебя... Давай на посошок. И пойдём. Там нас Наташа встретит. Она у меня готовит... пальчики оближешь, – стал он рассказывать своим новым друзьям о своей жене, её хлебосольстве, о гостеприимном старинном доме в оазисе яблоневого сада, посреди современного жилого массива. Не совсем массива... Неподалеку дом-музей вождя пролетарской революции, рядом, в высоком, но не высотном, номенклатурном доме, с видом на тагировское поместье, – квартира президента республики. Ему, человеку, рождённому на селе, понятно, более мил яблоневый сад с избой под своими окнами, чем какой-нибудь многошумный проспект. Раза два Тагир видел уважаемого президента на балконе в трусах и майке, выходявшего поутру навстречу солнцу и разминавшего свои крепкие, крестьянские плечи, чтобы, зна-

чит, неустанно и надёжно держать безоблачный мирный свод над своим народом и республикой.

Амстердам выпил, размеренно закусил, согласившись вроде бы с Тагиром-кузнецом, верней, с присутствующим авторитетным собранием – сменить месторасположение курултая. Но когда повалили из «кузни», тронул руку Елены, ткнулся своим острым буратинным носом в розовую раковину её уха:

– Пошли со мной.

Она ответила совсем не шёпотом:

– Тебе же Тагир нужен, а меня ты забыл и бросил.

– Я не забыл, не бросил, – повысил и Амстердам голос. –

Я обиделся.

– На что?

– Не прикидывайся. Вижу ведь, и все видят, как ты тут с этим милуешься.

– С кем?

– С Кашей, с кем!

– Что? – оглянулся Кашапов. – Он шёл чуть впереди с Булей, и тот что-то ему говорил. Каша не мог оставить без внимания слова дядьки, по этой причине зазевался и выпустил из виду свою новую очаровательную знакомую.

Та в ответ оглянувшемуся Руслану сделала белоснежным перстом: не отвлекайся, мол, я сама тут разберусь. Затем зябко поёжилась, надела кофточку.

Было сумеречно, тёплый, даже жаркий день вдруг уступил

место влажной прохлады, потянувшей с Волги.

– Понятно, – безнадежно и поэтому с какой-то отстраненной ехидцей промолвил Амстердам. Он не привык терпеть поражения на любовном фронте и от этой сегодняшней неожиданности не знал, как себя вести. Свидетель происходящего, я подумал, как, наверное, тяжело минуту назад фавориту оказаться вдруг абсолютно вне игры.

В зависимости от настроения или обстоятельств у Амстердама менялся голос, точнее, актёр по натуре, он сам его менял. То становился он у него мужественным, напористым, то грустным, томным, то философски задумчивым, а то удручённым, жалостливым и чуть ли не плачущим. В тот не самый лучший в его жизни момент он не был хозяином своих голосовых связок, не актёрствовал, и голос его был каким-то серым. (Живописцы всё на свете сопоставляют с цветом.)

– Что ж мне делать? – хныкнул он.

– Поехали с нами, – просто, по-дружески и даже ласково позвала Елена. И взяла его под руку.

– Поехали, – согласился Андам по кличке Амстердам, талантливый художник и прекрасный семьянин. Дома у него, в тепле, сытости и достатке сидела довольная своей жизнью прекрасная жена с двумя детьми, сыном и маленькой дочуркой, которые очень любили папу. Малышка, ещё не привыкшая к его постоянному отсутствию, часто вечерами спрашивала у мамы: «А где папа?» На что слышала неизменный от-

вет: «Папочка наш в мастерской, картины пишет, для нас старается».

20. Непрошенные гости

Дом Тагира-кузнеца пером так просто не описать. С пристроями, надстройками, непонятной общей конфигурации, в большом дворе-саду, где застыли в задумчивости полуобнажённые мраморные девы, притаились в тени шатров яблонь и вишен лавочки, качели, старинная беседка, смастряченный из бэу-досок душ, тёмно-серый от времени, скособоченный сарай, – вся эта усадьба его вызывала у одних восхищение, у других категорическое неприятие, у третьих и большинства – двойственное чувство.

Мне же здесь откровенно нравилось. Здесь моя душа, не свободная от презренного быта и мирской суеты, чувствовала себя раскрепощённой и возвышенной. Но наши новые друзья полного представления о жилище Тагира-кузнеца – ваятеля, живописца и коллекционера – получить не смогли, так как было уже совсем темно, да и внутрь дома, где хранилась настоящая Третьяковка наших живописных шедевров, они не попали. Но всё по порядку.

Тагир дёрнул за потаённую верёвочку, калитка с лёгким скрипом отворилась, и мы все, с огромной спортивной сумкой, гастрономическими пакетами ступили в его заповедник и гуськом потянулись за хозяином по саду, по поблёскивав-

шей в лунном свете дорожке к дому.

Хозяин нажал на пипочку звонка, притаившуюся на косяке массивной, резной двери. Дверь в мгновение ока, сдерживаемая цепочкой, приоткрылась.

– Кто?

– Это мы, Натали! – бодро откликнулся Тагир.

– Кто это «мы»?

– Я и мои друзья. Хоккеисты, чемпионы... Волки, короче.

– Ну-ну... Это ты с ними, что ли, неделю у себя в берлоге пил? Я тут кровельного железа натащила, крышу латаю, полы крашу, а он... – Она высунула нос из-под цепочки: – Это кто тут чемпион? Что-то не вижу. Я же хоккей по телевизору смотрю, все матчи подряд и всех наших хоккеистов наперечёт знаю.

И в самом деле, в выдавших виды джинсах, в каких-то блёклых, должно быть, с вещевого рынка свитерах, пьяненькие, с бабами, они на хозяйку чемпионского впечатления не произвели. Один Каша был в новом, по виду импортном костюме, но стоял как-то бочком и, несмотря на статную фигуру, оказался вне поля зрения хозяйки. Она высказала своё мнение вслух. Тагир ужаснулся:

– Какие бабы?! Это же Ленка Анисимова, однокурсница, одна-единственная среди нас. Что, у тебя в глазах двоится? Или троится?

– Это у тебя троится! – не дала договорить хозяйка. – Сказал, над новым заказом будешь работать, обещал сразу и

аванс принести. . . Я, дура, поверила, заместо мужика крышу колочу, а он там керосинит! Они, волки-то, знаешь, поскольку зарабатывают?! – Она скинула цепочку, распахнула дверь, поправила непослушный ворох волос. – Вот их, чемпионов, пущу, а тебя – нет. Проходите, дорогие гости! Правда, у меня полы кругом покрашены. – Тут она и меня с Амстердамом заметила. – О-о, сборная в полном составе!

К Амстердаму у неё отношение было особое, скажу кратко: ультрасажа. Натали считала, что он, хоть и талантливый художник, но в первую очередь алкаш и дурно влияет на её мужа, сбивает с пути праведного. Я в её представлении был существом нейтральным, не проявившим свои негативы, но подозрительным, потому что, как известно, друзья ниспосланы человечеству исключительно для того, чтобы портить семейную жизнь.

Атака её застала нас врасплох, мы переминались с ноги на ногу у открытой двери, из-за которой, и правда, веяло нитрокраской.

– Я в машине подожду, – сказал Буля и растворился во тьме.

Согласен, видок у нашей гоп-компании был, прямо скажем, не чемпионский. Но и жена Тагира победительницей в этой жизни не выглядела. В затасканном домашнем халате, с измождёнными руками, по локоть заляпанными краской, она перешагнула порог, отодвинула нас с диэлектрического коврика и, оттащив его в сторону, стряхнула пыль.

Мы были сбиты с толку. Но стоило ли обижаться? Зачуханную бытовыми проблемами, постоянной гонкой за далеко не длинным рублём и безуспешной борьбой с богемной жизнью своего супруга, в общем-то, добрую, по-своему нормальную, каких в стране большинство, женщину можно было понять. Она тут жилится, дом обустраивает, хозяйство тащит, вдобавок и на работу успеваает сбегать, а её благоверный после недели отсутствия возвращается домой праздно-весёленький да ещё с друзьями в придачу, и она им тут всем должна изобразить «милости просим»?!

Когда Амстердам, выдвинувшись вперёд, стал что-то виatieвато доказывать взъерошенной женщине, я, уже теперь тоже, должно быть, внесённый в её чёрный список, тихонечко последовал за Булей.

Вскоре к машине вернулись и все остальные. Вместе с гостеприимным Тагиром. Он был ошеломлён произошедшим, подавлен, обижен, унижен и стеснённо просил Булю отвезти его обратно в мастерскую.

– Больше ноги тут моей не будет!

Мы поехали. По тем же улицам, мимо Ледового дворца... Каша по дороге рассказал историю о том, как он однажды, юношей, проводил домой вдрызг пьяного и совершенно не знакомого ему человека. Пожалел его, заоченевшего, достал из сугроба, отвёз на другой конец города (тогда и машины-то своей не было) и получил в указанных благодарным кирюхой дверях влажной половой тряпкой по фейсу. От его

жены, значит. Со словами: «Когда вы от него отстанете, алкаши проклятые?!»

– А ты что в ответ? – спросил Булатыч.

– Ничего. Утёрся.

– Разве я виноват? – принял в свой адрес курьёзную историю Тагир.

– Да я не имел тебя в виду... – понял свою оплошность Каша. И постарался перевести стрелку разговора на нейтральный путь.

– А что, Лена, напишите наши портреты, говорят, вы прекрасный портретист, – обратился он к осязаемой рядом, справа, но почти невидимой во мраке салона авто новой знакомой, которая в компании осталась, наверное, единственным не раздосадованным человеком. Она удобно, в притирочку, разместилась между Кашей и Амстердамом. Далее, правее безмолвного «голландца», – поникий Кузнец; я, штурманом, – впереди, около водителя.

– Кого это вас? – поинтересовалась художница серьёзно. Ей надо было зарабатывать на жизнь, и шуточек, необязательного трёпа она не понимала, воспринимая любую чепуху, облачённую в приличествующие слова, буквально и всерьёз.

– Равиля Булатова, скажем, меня, грешного... У нас ещё один достойный гаврик есть.

– А что, я не против, – отозвалась она, – природы у вас колоритные. Какие портреты вы хотите, сколько на сколько?

Булатов остановил машину:

– Мастерская, приехали.

– Уже? – удивился Тагир и, вяло прощаясь, полез из машины. За ним последовал Амстердам. Взглянул на свою Елену в зыбкой охре салонной подсветки автомобиля, всё без слов понял и с собой не позвал.

– У тебя переночую, – сказал он другу. – Фу ты, хоть глаз коли – ничего не видно! Лампочку бы хоть ввинтил у подъезда.

Выбравшихся из машины, накрыла как мешком, крошечная тьма.

– Ноги ведь переломать можно, – жаловался невидимкою один.

– Ничего, в подъезде ещё темнее, – успокаивал другой.

Когда отъехали, вспомнил я, что подрамники у Тагира, ради которых собственно и заезжали к нему изначально, забрать позабыл. Возвращаться, однако, не стали.

21. В «Клешне»

Недалеко от Ледового дворца, под холмом, вблизи реки пивной бар под названием «Клешня». На вывеске высвечивает красного цвета рак с пивной кружкой в растопыренной конечности. Название у заведения историческое, неизменное. Менялись времена, менялась описываемая постройка (от незамысловатой, дощатой пивнушки до фешенебельной

забегаловки с рыболовными сетями под потолком, штурвалами, якорями по стенам, с тёмными, дубовыми столами по закускам-каютам, живой музыкой), менялись её хозяева, менялись посетители... А «Клешня» как была «Клешней», так ею и осталась.

Проезжая мимо «Клешни», прекрасная Елена заметила, что у неё горло пересохло. Не потому, что увидела зазывные огни ресторации, а просто в этот момент ей и в самом деле захотелось пить. Она спросила: нет ли в машине поблизости водички какой?

– Как же нет! – воскликнул Каша. – У нас целый баул всякой всячины. Где он, кстати?

Мой друг притормозил. Я соскочил на тротуар, подошёл к багажнику, который уже был изнутри кабины открыт, заглянул: баула нет, лишь пакет с консервами, ветчиной, хлебом, печеньем... Для убедительности пошарил руками между двумя коробками, инструментом и машинными маслами, тосолами... Нет как нет!

Позабыли, стало быть, баул-то в потёмках тагировской усадьбы.

– Ладно, хоть сами живы остались, – вздохнул Буля.

– Вот же! – кивнул Каша на пивной бар. – Зайдём, Лена? Попьём, выпьем...

– Нет, уже поздно, – ответила наша красавица. – Домой пора.

– Тогда я сбегаяю. Пива, вина какого-нибудь лёгонького? –

Каша выбрался из машины, два раза присел, размял ноги. – Я мигом.

– Миниралочки, Руслан, если можно, – согласилась Елена.

– А вам что?

Я промолчал, Буля согласился со своей соседкой:

– Да, минералки. Хотя я тоже разомнусь.

Через мгновение Каша с Булей исчезли в дверях бес-
смертного заведения.

...В зале бара было полутемно и полупустынно. У стойки торчали три клиента.

– У нас в стране без очередей не бывает, – констатировал Каша.

Один из троицы был толще других и посвёркивал лысым затылком, второй – средней упитанности, но повыше ростом, третий – ни то ни сё, ни уже ни шире, ни выше ни ниже...

На слова Каша обернулся толстый и лысый. Кто бы мог подумать, это был Сват. Сватов Геннадий Васильевич – ген-
директор клуба. Он хотел изречь нечто афористичное и ве-
сомое, но, увидев Булю с Кашей, опешил, удивлённо вскинув
свои надменные, кустистые брови:

– Что это вы тут делаете?

Глупее вопроса в пивбаре услышать невозможно. Рыжая, грудастая барменша, позабыв о своей профессиональной маске безразличия, с любопытством взглянула на новых по-
сетителей и высыпала кучу сдачи звонкой монетой в специ-

альную вымоину в мраморе у кассы. Тут и двое других мужиков обернулись. В руках они держали пенные кружки, тарелки с закуской. Тот, что повыше, оказался Ломом, а тот, что ни то ни сё, козе понятно, Серым.

– Что делаем? – переспросил Каша. – Зашли жажду утолить.

– Это какую такую жажду? – зарычал Лом. Одной рукой он удерживал сразу четыре кружки пива, другая была ещё свободна. – Что ты себе позволяешь, Каша в фуфайке?!

– Понятное дело, победу обмывают, – попал в точку Серый. – Сорвали наше собрание... Что хотят, то и творят.

– Кто Каша в фуфайке? – оскорбился Каша. – Я сегодня в пиджаке и не на площадке, чтобы меня так, за здорово живёшь, шпынять. И вообще, сезон окончен, отпуск на дворе.

Его светлые глаза потемнели, как небеса перед грозой, на лице появилась известная гримаса, после которой обыкновенно форварда надолго удаляли с хоккейной площадки. Сват почувствовал, что дело пахнет керосином, сунул руку по самое плечо между главным тренером и игроком, которых друг от друга отделяли ещё и пивные кружки в руке Лома.

Но и Лом взбеленился:

– Ты что, Кашапов, с цепи сорвался?! Или у тебя после сезона сдвиг по фазе произошёл?

– Это у вас самих сдвиг по фазе, короткое замыкание какое-то... Я же говорил, Булатыч, заземлять пора! Говорил?

Каша попытался отстраниться от толстопалой пятерни ди-

ректора, но тот продолжал орудовать рукой, как шлагбаумом, да не совсем удачно, Ломово пиво обильно плеснулось на Кашин пиджак, который он привёз из Финляндии, который ему из-за специфики профессии так редко удавалось носить, и он тогда в сердцах оттолкнул Свата, Сватова Геннадия Васильевича, генерального директора клуба. Толчок получился достойный центрального нападающего на «пяточке» противника, и Сват, смешно попятившись, сел своей увесистой пятой точкой на колени девицы в кресле у стены, с декоративным компасом над головой, в компании ребят и девчат.

Живой преграды между Кашей и Ломом больше не было. Каша ещё не успел оторваться взглядом от сменившего компанию Свата, а Лом уже, опережая вполне предсказуемые действия подопечного и вспомнив, видать, свою бойцовскую молодость (всё-таки в защите играл), оттягивал кулак свободной правой руки то ли для сокрушительного удара, то ли... А для чего ещё? В другом кулаке он удерживал сразу четыре кружки с остатками пива.

Но его опередил Булатов. Он поймал богатырскую длань Лома, отдернул в сторону от Каши, и опять-таки это получилось сильней, чем надо. Главный тренер «волков», чуть ли не сделав пируэт фигуриста, стремительно повалился, почти полетел, роняя богемское стекло и расплёскивая пиво, в другую, пустынную сторону пивнушки. На его пути оказался свободный стол со стульями, в них он и погрёб себя.

В оцепенелой неподвижности остались только молодой человек в чёрной униформе охранника, не скрывавшей его дебели, и Серый, с креветками в красивых голубых тарелочках. Он водил глазами, наблюдая, как шеф выбирается из обломков мебели, как пацаны из-под компаса сняли Свата со своей девчонки, дёргали-пихали его, пока к ним не подскочил Каша. Хотя ребятишек и было четверо, Каша быстро усмирил их – они узнали любимого хоккеиста и полезли обниматься.

Одну кружку Лом удержал в руках, несмотря на своё падение. Он поставил её, почти пустую, на прилавок. Рыжая барменша, в этот момент оказавшаяся на своём рабочем месте, услужливо спросила:

– Повторить?

– Нет, спасибо!

Он поправил наполеоновскую чёлку, заправил выбившуюся из брюк рубаху, взял с мрамора у кассы сдачу и размеренной походкой направился к двери, перешагивая битое стекло в лужах пива. Проходя мимо Були, кинул небрежно:

– Пакуй чемоданы, Булатов.

Булатов пожал плечами:

– А что мне их паковать, я в родном городе живу.

22. Поцелуй в ночи

Буля с Кашей заплатили за сломанные стулья (к тому вре-

мени и я с Еленой сунул нос в пивбар), ещё за какую-то мелочовку (кружки, тарелки, вазу...), купили апельсинового сока, минералки... Надо отдать должное, персонал бара проводил «дебоширов» уважительно. Работников «Клешни», оказалось много больше, чем во время конфликта. Они с компанией из-под «компаса» высыпали на улицу, пожелали нам удачи, что растрогало нас всех до глубины души.

Оппонентов наших друзей видать уже не было. Ни самих, ни автомобиля, который мы и при входе сюда не заметили. Но как это Каша с Булей сразу-то не узнали своих руководителей?! Я своего председателя Союза художников или директора худфонда не то что сзади, в затылок, но и в лежащем положении, со стороны ступней определяю. Понятно, полумрак был, как разъяснил мне мой друг, впереди Каша шёл, подшофе чуток, да ещё в непривычном интерьере, в неурочное, позднее время та троица находилась. Действительно, недавно вот встретил одну знакомую на оперном фестивале, улыбаемся друг другу, разговариваем, а я, убей, не помню, кто она такая. А она – продавщица в нашем продуктовом магазине, почти каждый день мне то сосиски, то сыр с маслом отпускает. Попала вот не в тот интерьер, и всё, заклинило память.

Не успевший остыть Каша в машине, за спиной у меня, рядом с Еленой продолжал кипеть и булькать.

– Сумели-таки постоять за правое дело, – оценил я произошедшее, обернувшись.

– В чём оно, это правое дело, заключается? – спросила Елена. Опять её не интересовала шутливая поверхностность, ей необходима была суть.

– Ну-у, эта история не одного дня, – стал мягко, даже как бы отстранённо от самой истории, будто сам и не был в её действующих лицах, объяснять Каша. – Понимаешь... – тщательно в обществе дамы подбирал он слова, – понимаешь, в жизни очень много несправедливости, и часть людей этим пользуется, для них это статья дохода. Любое нормальное животное, насытив свою утробу, останавливается, но не человек. Человек продолжает обжираться. Но это ведь за счёт кого-то, за счёт честных людей. И этим людям, и не только этим, а порою и сторонним, простым свидетелям, надоедает беспардонное нахальство, и они встают за своё правое дело. «Ходи право, смотри браво!» – говорят у нас. Но за это приходится дорого платить. Тебя просто-напросто начинают в асфальт закатывать, и ты взбрыкиваешься... Понимаешь?

– Понимаю, но я хотела бы поконкретнее – в чём несправедливость-то, в чём конфликт? А так, ты правильно говоришь, Руслан, только слишком общо...

– Да, – подтвердил Буля, – Руслан у нас умеет обобщать.

– Точно, – поддакнул я и спросил: – Но ответь вот, Руслан: почему в этой заварушке сначала ты опрокинул Свата, а потом стал спасать?

– Так его закрутили-завертели те, четверо, из-за девки, на

которую он сел. Но это теперь не имеет никакого значения. Нам ещё предстоит... – Каша не успел закруглить мысль, как машина резко затормозила, и они с Кашей упёрлись лбами в спинки передних сидений. Характерный хлопок говорил о том, что наш джип с кем-то «поцеловался».

23. У поэтов отчеств не бывает

Пешиходов надо любить. Пешиходы составляют большую часть человечества. Мало того – лучшую его часть.

И. Ильф, Е. Петров. «Золотой телёнок»

– Что случилось? – испуганно спросил Каша, вернувшись в изначальное положение, когда машина встала как вкопанная посреди городской, мерцающей уличными огнями ночи.

– Чуть не задавили кого-то, – прошептал я, кивая вперёд, на дорогу.

– А может, и задавили, – предположил Буля и выскочил из машины.

Мы последовали за ним.

На дороге, перед джипом, подымался с асфальта окровавленный мужчина в кургузом пиджачке. Был он крупного телосложения, сутул, в густой торчащей дыбом папаше волос, дремуче не брит. В одной руке он держал туго набитую, бомжацкого вида, холщовую сумку, точнее, мешок с верёвками ручек-держателей, в другой – авторучку.

– Жив? – спросил Буля, помогая потерпевшему встать на ноги и заглядывая ему в освещённое фарой лицо.

– Жив, жив, – пробурчал тот, – что со мной может случиться?

– Он же в крови весь! – испугался подоспевший Каша. – Где наша аптечка?

Раскрытая автомобильная аптечка была в моих руках, а прекрасная Елена уже стремительно распечатывала пачки с бинтами, ватой... Кровь сочилась у потерпевшего из шишковатой, грязной раны над бровью.

– Надо «скорую» вызвать, – сказал я.

– Не надо никого вызывать, – отшатнулся старик. Да, это был старик согбенный. Но крепкий, кряжистый. Он увернулся от пытавшейся оказать первую помощь Елены, оттолкнул локтем Булю и удивительно резво засеменил прочь, в сторону от машины, подальше от нас. У тротуара мы настигли его.

– Нельзя так, – сказал Буля, – не дети же мы все тут. – Ну-ка, вот здесь светло. – И мы припёрли старика к столбу под фонарём.

– О-о! – взвыл он, когда Елена коснулась бинтом его раны.

– Неженка! – ласково корила бомжа Елена. – Ещё, ещё секундочку! – А когда окончательно перевязала его и поставила пришедшийся прямо ему на лоб смешной бантик, сказала: – Нет, надо всё-таки обработать получше, в нормальных условиях.

– В травматологию его! – решительно определил Каша,

на что старикан неодобрительно заворчал и вновь попытался освободиться от нас. Но Буля-Булатыч держал его крепко.

– Ко мне поедем, – сказал он. – Но сперва в аптеку. – Он всё оценил, взвесил и принял решение, которое мы, в том числе и Елена, которой вроде было «пора домой», оспаривать не стали. Бомжарик наш не переставая ворчал, но уже не сопротивлялся.

– Что у тебя там? – кивнул Буля на его сидор, когда тот неуклюже полез с ней в машину. – Давай в багажник положу.

– Не-е, – отказался старик. Он сунул авторучку в карман и, обняв своё позвякивавшее богатство в холстине, устроился по правую руку Каши на краешке сиденья, как большая причудливая птица на курином насесте.

Ещё во время перевязки, на тротуаре, под уличным фонарём, выяснилось, что мы незадачливого пешехода вовсе и нешибанули своей машиной. Можно сказать, просто упёрлись в него, призраком возникшего на нашем пути, точнее, вылетевшего из-за автобуса и клюнувшего носом прямо у нас под колёсами. Да, он был пьян. Не сильно, но и не слегка. Нормально для его категории персонажей. Такие, кстати, так просто не падают.

– Каким образом тебя угораздило-то под колёсами оказаться? – расспрашивал в пути несуразного пассажира Буля, полуоборачиваясь к нему. – Чуть ведь не задавил тебя в лепёшку. Как успел среагировать?! Зазевайся на мгновение – и всё, хана!

– Споткнулся у автобуса, – рокотал в ответ птицеподобный пассажир. – А там как-то вынесло на дорогу. Да и не удержался, нырнул... Ладно, бог миловал.

– Но я же слышал хлопок.

– Это ты сумку мою трахнул.

– Что у тебя там?

Старик заглянул в неё:

– Теперь уже ничего. Практически.

– А теоретически? – сострил Каша.

– У меня теория с практикой не расходятся, – ответил наш новый знакомый.

Его звали Борисом.

– А по отчеству? – спросил я.

– У поэтов отчеств не бывает, – ответил с достоинством бож.

– Вы поэт? – удивилась Елена.

– Да.

– Что-то не очень похоже.

– У нас в стране нет возможности быть похожим на себя.

– Вообще-то, всё возможно. Не зря же и авторучка в руке была.

Каша шепнул ей:

– Авторучка – да... Но ты ещё, наверное, думала, что все поэты ходят в плюшевых курточках и с шёлковыми шарфиками на шее?

– Нет, почему? Но, согласишься, как-то странно...

24. Верста

– А я, ваше благородие, с малолетства по своей охоте суету мирскую оставил и странником нарекаюсь; отец у меня царь небесный, мать – сыра земля; скитался я в лесах дремучих со зверьками дикими, в пустынях жил со львы лютыми; слеп был и прозрел, нем – и возглаголал.

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Губернские очерки»

У себя дома Буля меня удивил. Он с такой заботой отнёсся к своему невольному гостю, будто это был отец его родной.

Рану бедолаге заново и тщательно промыли. Прекрасная Елена своими божественными пальчиками её обработала, наложила какие-то мази, аккуратненько перебинтовала. Затем Буля затолкал слегка пропахшего вольной жизнью поэта отмыкать в ванну, приправленную морской солью, со словами:

– Перевязку не замочи.

Было уже за полночь. Пока именитый гость купался, Буля принялся организовывать чай, но Елене всё-таки надо было домой. Ограничились апельсиновым соком, минералкой. Буля взялся за поиски своей дорожной куртки, чтобы отвезти Елену, но Каша сказал, что лучше, если он останется дома и будет сам возиться со своим новым другом.

– Её я сам отвезу.

– Ты же пил сегодня.

– Когда это было! – хмыкнул Каша. – Знаешь ведь, мой желудок за полчаса канистру бензина в кефир превратит. И никакого запаха не останется. Хо-о, – дыхнул он на дядьку. – А? Понял? Так что, одна нога здесь, другая там, моментом вернусь.

– Не надо мне моментом, – поморщился Буля. – Хватит на сегодня моментов. – Он протянул Каше документы и ключи от машины. – Чтобы сорок-шестьдесят кэмэ в час, в соответствии с дорожными знаками, понял?

– Понял, Булатыч, какие разговоры!

– Ты там, Елен, следи за ним, чтоб не превышал, – посоветовал я. Мне было почему-то грустно, зато Каше весело. Он удалился с красавицей, поигрывая ключами от машины.

Гость из ванной выбрался нескоро. В Булином тренировочном костюме, шлёпанцах, с большим, махровым полотенцем на шее, он походил больше на футбольного тренера английской премьер-лиги, чем на нашего не высших условий соотечественника. Он прямиком подошёл к полкам с книжным богатством и, пока хозяин сервировал на кухне стол, принялся со знанием дела извлекать из тесных рядов том за томом и, многозначительно хмыкая, листать их. Я полулежал в кресле с газетой в руках. Он меня не замечал. Он утопил свой эллинский нос в книге и теперь уже больше походил на профессора из старых, классических времён.

Вид у него, и точно, был профессорский. Вернее, не вид, а весь облик, образ, начиная со взрыва из-под бинта эйнштей-

новской шевелюры, античного носа, интеллигентной сутулости, не считая загрубелых, хватистых рук с прокуренными, жёлтыми пальцами, удивительно умело и бережно гулявшими по страницам книг. И был он не так стар, как мне показалось сначала. Шевелюра его была пегой – наполовину, через, так сказать, волосок, седой; под зарослями бровей бегали по чрезвычайно любопытным для него строкам живые, по-детски заинтересованные глаза, цвета чистого майского неба. И ни облачка в них, ни тревожности, которые обычно нагоняют на людей возраст, проблемы и неопределённость завтрашнего дня. Ему бы ещё побриться гладенько и затем хоть объявление подавай: «Мужчина в расцвете интеллектуальных сил ищет себе понимающую подругу на пути к высотам науки и поэзии». А может: «...справедливости и поэзии». Но «поэзии» – это точно. В его руках, как белый голубь крыльями, взмахивал страницами томик Элюара, когда нас позвали к столу.

– Перекусим, – сказал Буля, рассаживая нас. – Да и по рюмочке теперь не грех. – Он взял хрустальный графинчик с хрустально чистым содержимым и наполнил на высоких ножках, такого же хрусталя, рюмки. На закуску были солёные грузди и маринованные, пупырчатые огурчики, тонко нарезанный янтарно-рубиновый балык, копчёное мясо дольками, и в кастрюле на газовой плите булькала картошка.

Мой друг с детства любил яблоки. Частенько со школьного двора после футбольного матча мы лазали в соседние яб-

лоневые сады утолить жажду. Он поедал различные ранетки, золотые наливки, а по осени – ядрёные антоновки вёдрами. С тех пор пристрастие его не изменилось. Посередине стола возвышалась ваза с зелёными, крупными яблоками.

Гость наш оживился, двумя пальцами взял рюмку за ножку, выжидающе поднял глаза на хозяина квартиры, тот не заставил себя ждать:

– Ну что, Борис... – И тут же перебил себя: – Но фамилии-то у поэтов бывают? Или псевдонимы?

– Верста, – ответил он.

– Верста? – переспросил Буля.

– Да, Верста.

– Значит, поэт Борис Верста?

– Точно.

– Что-то не слышал такого, – сказал я.

– Это не меняет дела.

Я пожал плечами.

На это непризнанный поэт, продолжая держать на весу готовую к употреблению рюмку, сказал:

– Вы слышали звезду под названием Бетельгейзе?

– Нет, – ответил я.

– И ей от этого, замечу, ни жарко ни холодно. Она от этого не перестаёт быть звездой. Согласны? Кстати, она почти в тысячу раз больше Солнца.

– Один – ноль! – сказал я.

– А некоторых звёзд вообще не видно, – продолжал доби-

вать меня поэт. – Свет от них ещё не дошёл до Земли.

«Два – ноль», – сказал я про себя, а вслух произнёс:

– Не хотел вас обидеть, честное слово, просто как-то с языка сорвалось то, что должно было остаться в ящике. – И постучал себя по макушке.

– Ладно, ладно, – одёрнул меня Буля и проинформировал гостя, что я тоже человек творческой профессии – художник, живописец, и что свет моих произведений тоже ещё не дошёл до всех жителей Земли.

– Вот и тост сформировался, – обрадовался залётный, привзмахнув рюмкой, как дирижёр палочкой.

– Верно, – сказал я, поднимая свою хрустальную мерку, – выпьем за то, чтобы наш потребитель не сидел без излучаемого нами света.

Верста, закинув голову и не касаясь губами рюмки, одним глотком опорожнил рюмку, закусил пупырчатым огурчиком, затем намазал сливочного масла на хлеб, накрыл красной долькой балыка и стал неторопливо жевать-пережёвывать, будто демонстрируя, что такая пища в бомжацком рационе обычное дело. Откровенно говоря, я думал, на еду он накинется со зверским аппетитом. Ошибся.

Буля сочно хрустнул яблоком и, немного погодя, спросил:

– А в паспорте тоже записано: Верста?

– Нет, в паспорте я – Версто-о-ов, – с удвоенным ударением ответил гость, разглядывая чернильную авторучку, которая была у него в руке после столкновения, и пробуя её

дееспособность на салфетке.

– Верста, выходит, псевдоним, – сказал я. – Борис Верста... Красиво.

– Ты, наверно, недавно в нашем городе? – сказал Буля и, слив горячую воду из кастрюльки, высыпал парящуюся картошку в большую тарелку, чем привёл Версту в неопиcуемый восторг. – Просто я всех здешних поэтов вроде бы знаю, – продолжил он свою мысль.

– Верно. – Гость отложил авторучку, взял вилку и пошёл на картошку в штыковую. – Здесь, у вас в городе, я всего второй месяц.

– Откуда родом-то? – спросил я.

– Из Кемерова.

– Сибиряк, значит.

– Да.

– А знаешь, откуда название «Кемерово» происходит?

– Знаю, с татарского это значит «уголь». Кумер – уголь. Угольная у нас область. Одно слово: Кузбасс! Но я давно уже там не был. Как уехал лет тридцать назад Москву покорять, так и всё, как отрезали.

– И покорил?

– Москву-то? Скорей она меня. Хотя, что Москва, география моей жизни гораздо шире. От Питера до Анадыря, от Диксона до Бухары... За большими рубежами вот не был, жалко, конечно, но всю страну, ещё не развалившуюся, вдоль и поперёк исколесил.

– Булатыч наш тоже всю страну объездил, – кивнул я на Булю. – Он ведь у нас шайбист. – Гость не понял. Пришлось пояснить: – Хоккеист, чемпион страны, мира и Олимпийских игр и вожак наших «Белых Волков». Команда у нас так называется, хоккейная, – «Белые Волки».

– Капитан их, что ли?

– Всю-то страну вроде бы всю, и не только страну, – произнёс задумчиво Буля. – А подумать так, что я видел, кроме вокзалов, аэропортов и Дворцов спорта? – Он взял графинчик и разлил по рюмкам. – Где, дружище, в нашем городе-то остановился?

– Да нигде, можно сказать. – Он сделал свободной от рюмки рукой беспечный жест. – Для нашего брата под любым кустом, как там у классика, всегда готов и стол, и дом.

Этой темы из соображения особой деликатности мы с Булей больше не касались, как и вопроса о его семье, жене, близких и т. д. После второй рюмки он сам стал рассказывать, но больше о своих друзьях, великих соратниках пера, встречах с ними, приключениях. Буле всё это было чрезвычайно интересно, он слушал, зачарованный, как ребёнок. А Верста и рад стараться. С этим живым классиком он выступал на поэтическом вечере в Центральном Доме литераторов, с тем он два месяца вдохновенно приносил себя в жертву Бахусу, у того полгода жил и беспробудно писал стихи, а с той, да, да, знаменитой шестидесятницей, путешествовал по городам и весям севера России. По его словам, он был на

короткой ноге с Львом Гумилёвым (даже ходил с ним в экспедицию на Алтай), Астафьевым (гостил у него на Енисее, нет, не в Красноярске, а позже, в его Овсянке, в скромном, бревенчатом пятистенке), а с Колей Рубцовым живал в одной комнате общаги... Из художников? Знал Виктора Попкова, а ещё Евдокию Сидорову.

– Чудесную живописицу. Сибирячку. Она работает в стиле примитива, декоративно-лубочного такого... Но картины у неё, я вам скажу, сказочной кисти. Живёт в богом забытой деревушке и творит, творит... А так, художников я меньше знаю, но живопись люблю. Может, и ваши картины, судьба решит, увижу.

Ко мне, как и я к нему, он обращался на «вы».

25. Не променяю никогда

– Что такое импрессионизм?

– Это когда много баб и солнца.

Из услышанного

За окном гроыхнуло и полило как из ведра.

– Что за май такой? – оглянулся Верста на открытое окно. – То солнце нещадное, то ливень безбожный. Такая зависимость от капризов природы! – Он потрогал свой варяжский нос, потёр поясницу. – И с годами ведь всё сильнее эта зависимость.

Буля подошёл к окну, выглянул в ночь:

– Что-то Руслана долго нет. – И захлопнул створки.

– Дело молодое, – заметил гость, взглянув на допотопные наручные часы, и вкрадчиво поинтересовался о Каше с Еленой. Буля сказал, что Руслан Кашапов – его партнёр по тройке. А Елена...

– Мы с ней только сегодня познакомились.

– Серьёзно? А такое впечатление, что она в вашем кругу уже много лет. – И добавил: – Верное имя у неё. Соответствующее.

По мобильнику Каша сообщил, что скоро будет. Буля успокоился, плеснул из графинчика ещё по рюмке.

– Борис, своих книг, изданных, много?

– Всего одна. Я ведь часто переезжал с места на место, а чтобы выпустить в свет книгу, надо в одном городе жить долго. Ну, как долго? Не меньше года. По газетам, журналам, альманахам публикаций достаточно. Свою эту единственную книжку, что интересно, я увидел через пятнадцать лет после её рождения. Как получилось? В Красноярске подготовил рукопись стихов и отдал одному хорошему другу-поэту, сидевшему в книгоиздате в немаловажном кресле. И так получилось – уехал. Опять же в Красноярске объявился только через полтора десятка лет. А там мой друг с моей живой книжкой. Протягивает мне... Вот это было – да-а! Ради такого стоит на белый свет явиться, друзья мои!

– Друг у тебя, получается, отличный.

– Точно!.. Но и стихи неплохие, – показал в улыбке свои

лопаты зубов поэт.

Я поинтересовался:

– Толстая книжка-то?

– Не-е... Тощенькая такая, в мягкой обложке.

– Хоть один экземпляр остался? – опять спросил я.

– Где-то остался, а при мне нет.

– А ты прочти что-нибудь на память, – сказал Буля.

– Да? – Верста задумался на секунду-другую, кашлянул в кулак и, чуть склонив большую голову набок, начал своим шершавым, прокуренным голосом:

Не променяю никогда
рубаху белую
на чёрную...

Честно говоря, я не очень-то верил, что наш бомжацкой корпорации гость может быть настоящим поэтом, и даже думал, что он откажется продемонстрировать свои поэтические способности, сославшись на травму, отсутствие памяти (и книжки своей под рукой нет), да мало ли других весомых и правдоподобных поводов отмолчаться. Может быть, это сомнение и порождало моё какое-то снисходительно-терпимое отношение к нему. Пой, дескать, соловушка, пой. Но я, оказывается, ошибался. Это стало ясно по первым же высоким поэтическим нотам, сипловато взятым Верстой посреди ночи у Були на кухне.

Он читал нам о не запятнанной белой рубаше, в которой

представить себе его было нелегко, и, странное дело, я верил ему. Вот в ней, белоснежной, топил он баньку (откуда она у него, перекасти-поля-то?) и вдруг пачкает в саже, которая легла на грудь «строкою жжёною». Тут завязка стихотворения. А развязка в том, что речь, конечно же, шла вовсе не о рубахе. Речь шла о душе и вдохновении.

Я, конечно, не самый большой знаток поэзии, но в данном случае... Для верности я взглянул на Булю, нашего профессора кислых щей, и по его сияющей физиономии убедился, что не ошибся: перед нами в небритом, перебинтованном, лохматом обличии восседало на табурете нечто, не скажу, талантливое, но, безусловно, подлинное и необычное.

– Откуда Волга-то у тебя взялась? – спросил Буля. – С одной стороны, ты сибиряк, с другой – странник, а тут, в стихотворении своём, – осёдлый волжанин?

– Его же я в Ярославле написал, на даче одного начинающего поэта и законченного спекулянта, хотя таких сейчас бизнесменами принято называть. Представляете себе, на высоком волжском берегу двухэтажный особняк, теннисный корт, баня, уж не говорю: помидоры-огурчики, яблони-вишенки на участке... И в резной беседке, в тени выюна, ваш покорный кропает своё... И не своё тоже. Я там его, этого проходимца, поэмку одну до ума доводил, к печати готовил. Кушать-то хочется.

– А рубаху белую запятнать не побоялись? – спросил я.

– С какой стати? Свою работу я исполнял честно и

профессионально. На чужом хребте в райскую жизнь не въедешь.

– Зато другому способствовали в этом. И сообща с проходимцем вводили в заблуждение читателя.

Буля перебил нас:

– Почитай ещё, Борис.

– Устал, – поморщился он и поднялся со стула. – Откуда, Булатыч, у тебя столько книг?

Мы с Булей тоже снялись со своих мест и неспешно пошли по комнатам квартиры, в которой практически по всем стенам подпирала потолки уникальная библиотека.

– Собрал потихоньку, – ответил Буля на праздный, с моей точки зрения, вопрос.

– Собрал? – удивился Верста. – А я думал, может, по наследству досталась.

– Почему это?

– Подобрана уж больно ладно, со старинными фолиантами и не по твоему, прости меня, Булатыч, профилю. Ты же хоккеист. А тут...

– Что тут? По-твоему, хоккеист не может интересоваться серьёзной литературой?

– Я этого не говорил, но, согласись, это не характерно для твоей профессии. И ты в данном случае – исключение. Я бы даже сказал: откровение для меня. Извини, но циничный вопрос: ты по натуре своей собиратель или читатель?

– У нас в семье всегда было много книг. И я рос среди

них. И читал. И сейчас без чтения я не представляю себе...

– Понятно... Но если б в моём доме с детства было такое количество книжек, у меня бы к ним, как к привычному декору, развилось равнодушие. А это чья картина? – прищурил левый глаз Верста, прицелившись на полотно моей работы, изображавшее большое, всё в инее разлапистое дерево и рядом озерцо, на утреннем льду которого скрестили клюшки над шайбой две крохотные детские фигурки. Картина приютилась в одном из редких проёмов, свободном от книг.

– Это – произведение выдающегося художника современности Марата Салмина, – с пафосом произнёс Буля. – Прошу любить и жаловать.

– Ладно тебе, – снял его руку я со своего плеча.

Верста посмотрел на меня, точно оценивая, соответствую ли своей работе, затем опять на полотно:

– Недурственно, очень даже недурственно, скажу я вам, – тоном академика живописи протянул Верста. – Светлая картина. Да-а, всё у нас, что связано с детством, светло и чисто. Кто-то из этих юных хоккеистов, должно быть, ты, Булатыч, а другой – автор картины, а?

Буля одобрительно кивнул головой, пояснив кратко:

– Одно время мы с Маратом бегали на озёра за нашими домами. Уже к концу ноября они покрывались крепким льдом и превращались в десяток чудесных хоккейных площадок...

– Сейчас там давно уже ни озёр, ни лугов, всё застроили, –

заметил я.

Верста был внимательным слушателем. Ему всё было интересно: и про картину, и про хоккейные краги на вешалке, и про золотые, серебряные медали, кубки и прочие спортивные награды хозяина квартиры, и про его детство в плюшевом альбоме, но всего интересней для него всё равно оставались книги, и он время от времени окунался в них, продолжая быть внимательным и не упуская нити неспешной нашей беседы...

Потом, возвращаясь к разговору о моей картине, он заметил, однако, что реализм по большому счёту его не столь волнует.

– Шишкин, Репин, Суриков не художники, по правде говоря, а старательные копеисты. Копеисты живой природы. Я имею в виду и человеческую природу. Мне надо, чтоб человек был показан изнутри. Огонь, мерцающий в сосуде, чтоб, а не сам сосуд, в котором не знай что.

Вернулся Каша. Мы все опять сели за стол. Предметом внимания, безусловно, стало долгое отсутствие нашего донжуана.

– И что, проводил?

– Это и есть одна нога здесь, другая там?

Каша вяло, в своё удовольствие оправдывался, а затем предложил выпить:

– Не за чего иного, прочего другого и не за ради приятства, а за единое единство нашего и дружного компанства!

Поэт аж языком цокнул и пегой своей шевелюрой встряхнул. Я поинтересовался:

– Из вятского запасника, что ли?

– Не знаю, – ответил Каша и, пошкрабав пятернёй в затылке, что означало крайнюю степень довольства жизнью, выпил.

Мы поддержали... На сей раз наш почтенный гость закусил странным образом – скучил хлебные крошки на столе, умело взял пальцами, как узбек плов, и кинул в рот.

– Так вот, – продолжил он прерванный приходом Каши разговор, – реализм – это всего лишь ученичество в истории искусства. И живописцы наши из поколения в поколение выкарабкаться из этого ученичества не могут. Ни тпру, ни ну – застряли, как второгодники. А пора бы подняться на настоящие высоты. Конечно, есть отдельные прорывы – Пикассо, Северини, Кандинский, Малевич, австриец Фукс. Но...

– Но это касается только живописцев? – поинтересовался я. – Или реализм – это ликбез для всех в широком смысле слова художников, в том числе и поэтов?

– По моему раскладу – только живописцев. Писатели право на реализм всё-таки имеют.

– Интересно, почему такая несправедливость?

– Не знаю, пока не могу объяснить. Но я так чувствую.

Тут вставил своё слово Каша:

– А хоккей – это реализм?

– Нет, хоккей – чистой воды абстракция. То есть искусство

высшего порядка. Вот, если говорят, архитектура – застывшая музыка, то хоккей, как и футбол, баскетбол, регби, – это визуальная музыка. В движении.

– Здорово! – Это Буля. Он взял омелевший графин, оценил ватерлинию и пошёл к себе в комнату за добавкой.

Я спросил Версту:

– Как же это ты так вылетел из-за автобуса? Не похоже, что просто споткнулся.

– Толкнули.

– Кто?

– Да-а... – махнул он рукой. И в свою очередь спросил: – А баба-то у него где? Вроде, фотографии вот её с сыночком вижу, кивнул он на книжный шкаф, за стеклом которого теснились среди прочих несколько семейных фотографий.

– Развелись они, – ответил я.

Появился Буля с восстановленным в статусе графинчиком.

Спать легли уже не поздно ночью, а рано утром. Верста ещё курил свои вонючие сигареты в лоджии, затем долго-долго кашлял за стеной, в специальной комнате для гостей, которые здесь, у Були не переводились.

26. Лучше дворняжку приюти

Утром было воскресенье. Впрочем, какое это имеет значение? У Були с Кашей-вятичем отпуск, я вообще никогда и

ни на какой службе не состоял. Бомжарик наш – тем более.

Спали по разным углам квартиры. Я в детской комнате, Каша в спальней, Буля у себя в кабинете, Верста... Про него говорил.

Я проснулся позже всех. Все надо мной, соней, смеются. Все давно уже слоняются по квартире туда-сюда, занятые каждый своим делом. Один с помазком и безопаской в руках, другой с книгой, третий со сковородкой.

Наконец Буля приглашает на завтрак. Не буду описывать, что было на столе «залы» – большой комнаты квартиры (кулинарные способности моего друга – отдельная тема разговора), скажу лишь, что не было спиртного.

Откровенно говоря, я думал, что Верста попросит себе что-нибудь на лёгкую опохмелку. Нет, ошибся. Он вошёл в комнату последним, свежий, гладко выбритый, благоухающий дорогим, хозяйским одеколоном, с раскрытым томиком в руке, лишь перевязанный лоб напоминал о вчерашнем и о том, кто он такой есть на самом деле.

– Смотрите, как сказано! – воскликнул он и процитировал, оторвав взгляд от книги и устремив его куда-то под раму оконную:

Не умирай! Сопrotивляйся, ползай!
Существовать не интересно с пользой.

Буле это – мёд на душу.

– Что это? – поинтересовался я.

– Поэмка с неказистым названием «Муха». Представляет себе, человек смотрит на медленно ползущую, чудом дожившую до апреля муху, и поднимает гамлетовские проблемы! Сравнивает её с собой... Но главное – «существовать неинтересно с пользой!» – каково, а!

Довольный прочитанным, Верста сложился на тонконогом стуле, опустил, не закрывая, страницами на скатерть, книгу, с удовольствием выпил, по предварительному совету Були, стаканчик кефира натошак, и вилку с ножом брать в руки не торопился.

Каша напомнил дядьке свою просьбу. Ему, оказывается, слетать куда-то надо было, а если точнее, свозить Елену на другой конец города. (Свою машину продал, новую ещё не приобрёл.) Буля сказал, чтобы на обратном пути заехали, Борису перевязку надо сделать. Куда деваться, Каша согласился, если, конечно, Лена не будет против, мало ли какие планы у неё в голове!

– Не будет, – улыбнулся Буля. – Разве такому богатырю вятскому, как ты, можно в чём-то отказать?

После отлёта центрального нападающего мой друг выдал, наконец, идею, которую я с опасением прогнозировал. Он предложил Версте пожить у него, пока тот не поправится и не определится с постоянным жильём. Буле невдомёк было, что Верста ни в чём постоянном не нуждался, и что царапина на его лбу была не смертельной.

Опытный бомж принял предложение спокойно, как что-то заслуженное и само собою разумеющееся, не торопясь с ответом, не спеша с благодарностями. Ему не впервой такое, сам же рассказывал. Потом, улучив момент, я сказал Буле: и одной-то царской ночёвки тут за глаза ему, лучше дворняжку с улицы приюти.

Так уж просто сказал, знал, что бесполезно. Но пусть чует мои тревоги. И если я за столом помалкивал, то из-за чистой деликатности к какому-никакому, но кунаку, то есть гостю.

Часа через два вернулся Каша с прекрасной Еленой. Оба сияющие, красивые, как само счастье на блюдечке. Что ты! Какое-то время ведь вместе провели и заодно съездили к какой-то там её заказчице! Наверное, так и должно быть, когда между мужчиной и женщиной завязывается что-то большое и настоящее.

27. Денди лондонский

Елена наложила новую повязку на лоб Гомера и спросила:

– У вас медицинский полис есть?

– Зачем он?

– На всякий случай, мало ли...

– Откуда у него? – рассмеялся Каша.

– А паспорт? – спросил Буля.

– И паспорта нет, – тяжело вздохнул Верста. – Украли.

– Дела-а... – Филантроп на мгновение задумался, но лишь

на одно мгновение. – Ничего, была бы голова на плечах. Остальное восстановим.

После медпроцедуры пили чай – второй завтрак таким образом затеяли. Чай гоняли с пряниками и не сводили с Елены глаз. В то утро она была особенно прекрасна. Борис Верста, не на шутку вдохновлённый неотразимой красотой гостьи, произносил поэтические комплименты, Буля по возможности не отставал... Красавице всеобщее внимание нравилось. Оно ещё больше по душе было Каше, который безвозвратно потонул в её невозмутимых, карих водоёмах, лишь изредка волнуемых каким-то нездешним ветерком.

На славу почаёвничав, Буля продолжил свои чудачества. Он позвал нас прокатиться по магазинам.

– Зачем? – подозрительно спросил я.

– Хочу с вами, художниками, кое о чём посоветоваться.

Верста накрыл пустую чашку блюдечком и засобирался.

– Где моя сумка? – спросил он, натягивая свой кургузый пиджачок и поправляя античных времён галстук на затрёпанной, когда-то жёлтой рубашке, с загнутыми, как осенние листья, концами воротничка.

– Какая сумка? – спросил Буля.

– Моя, какая!.. – возмущённо произнёс Верста. – Полная такая.

– Полная чего?

– Всего!..

– Я её выкинул.

Немая сцена.

– Куда?

– Это имеет значение?

– Конечно.

– В мусоропровод.

– И ты имел право?

– Что я, битые бутылки не имею права выкинуть?

– Я тебе не про бутылки говорю, а про сумку, в которой они были.

– Так я вместе и выкинул.

– О-хо-хо, – тяжело вздохнул Верста. Для него это, видать, была большая потеря.

Из подъезда он вышел первым. За ним все мы, остальные, виноватые.

– Да я тебе новую куплю, – успокаивал своего нового друга Буля.

– Не в том дело, – бурчал в ответ Верста.

– Да мы давно знали о содержимом котомки этой, – попытался я скрасить положение. – Ещё вчера звенела-гремела на всю ивановскую...

Борис на это ничего не ответил, сломал аккуратно сигарету (сигареты курил он без фильтра), сунул половинку в рот, другую спрятал. Экономный. Пока Буля выгонял свой серебрястый джип из гаража, он сходил к тележке с мусором, выставленной у подъезда для разгрузки, заглянул, не обнаружил пропажи и, бросив туда окурок, вернулся к нам.

Подъехал Буля. Вылез из-за руля.

– Всё-таки бампер помяли, – заметил я. – Днём вот видно.

– Есть немного, – ответил он без тени расстройтва. – Ну что, поехали?

В дороге он спросил Версту:

– У тебя ещё какие свои шмотки имеются?

– Имеются, – не сразу отозвался обиженный поэт.

– Где они?

– В надёжном месте.

В супермаркете напрямик прошли в отдел кожгалантереи и принялись сообща выбирать для Версты новую сумку. Сам он в этом сначала не участвовал, оскорблённо бойкотировал Булин почин, затем бочком-бочком приблизился к прилавку, стал подавать голос, критиковать сумку за сумкой: в этой то не нравится, в той это... Постепенно сумочки стали задерживаться в его руках, и вот, наконец, одна задержалась бесповоротно. Она и на плече хорошо висела, и в руке удобно держалась, и вместительной была, и с многочисленными кармашками по бокам, а тканью, чёрная, прорезиненная, как засаленная, отдалённо и пропавшую напоминала.

Потопали дальше. На плече поэта новая сумка. Поэт то и дело бросает оценочный взгляд на неё. Зашли в отдел с костюмами, пиджаками, брюками... Верста подошёл к зеркалу, вертикальному, в полный рост, и внимательно оглядел себя с новой тарой для посуды.

– Красивая сумка, – сказала Елена.

– Немножко не подходит к одежде, – заметил Буля.

– Да, не гармонирует, – согласился Каша.

Буля сунул руку в строй пиджаков, снял с плечиков коричневый, в ёлочку, приложил к груди:

– Ну как?

– Самое то! – ответила Елена.

Буля взял под локоть Версту:

– Померь-ка.

– С какой стати? – засопровтивлялся бомж. – У меня и свой нормальный.

– Нормальный-то нормальный, но он маловат тебе. Скажи, Лена, ты же художник.

Она говорит. Каша подтверждает. Ясно: сговорились.

Начинается примерка. Бомж снова показывает характер. Привередничает.

– Рукава коротки, цвет не тот...

Кое-как, уже с моим участием, подобрали ему другой пиджак, пепельно-серый, в чёрную крапинку. По тону он как нельзя лучше соответствовал его пегой шевелюре. Но не мятым, пузырящимся на коленях штанам.

Дальше совершенно логично последовал выбор и нудная примерка брюк.

Из супермаркета Боря Верста вышел, словами классика, как денди лондонский одет. Правда, чёрные брюки были ему чуть длинноваты, а серый в крапинку пиджак всё равно в

рукавах коротковат. Всё-таки нестандартные у Версты оказались длани. Такими бы руками не стихи кропать, а уголь на-гора выдавать. Но всё равно – с нами теперь уже топал не показательный бомж.

Через плечо у денди модерновая сумочка, на ногах – агатовые, поблёскивающие новизной штиблеты. Довершали портрет интеллектуала светло-серая сорочка и модный, тёмно-синий галстук (выбор Елены), оттенявший его по-есенински голубые глаза, только не распахнутые, а прищуренные.

Путь мы взяли в «Шалаш», уютный ресторанчик, что напротив супермаркета, через площадь.

Не успели там заказ заказать, а уж заверещал мобильник. Это Муха искал Булю. Он сообщил ему, что Лом со Сватом вызывают его с ним на завтра в Ледовый дворец.

– А меня? – спросил Каша.

– А тебя – нет, – ответил Буля.

28. О-хо-хо!

В форме головы животного более всего заметна выдвинутая вперёд пасть как орудие пожирания... К этому главному остальные присоединены лишь в качестве служебных и вспомогательных; это главным образом нос – для обнюхивания, нет ли где-нибудь пищи, а затем глаза, которые менее важны, – для её высматривания. Недвусмысленно подчёркнутое своеобразие этих органов, служащих исключительно естественной потребности и

её удовлетворению, придаёт голове животного выражение голой целесообразности для выполнения природных функций...

Фридрих Гегель. «Лекции по эстетике»

Утром к Ледовому дворцу Булатов и Мухин подкатили на своих машинах почти одновременно. В коридоре, у тренерской комнаты, навстречу попались защитники Хакимов со Штокманом и нападающий Юкка Маллинен, тоже неподписанты. Юкка куда-то спешил, а Хаки со Штоком угрюмо сообщили, что они больше не «волки». «Каким образом?» – остался расспрашивать Булатов, а Муха сказал, что пока пойдёт, и полетел дальше по курсу. Когда, поговорив с ребятами, Буля подошёл к дверям тренерской, Муха оттуда уже вылетал.

– Я теперь тоже больше не «волк», – промолвил он нервно и сказал, что контракт с ним продлевать не хотят, что он предупреждал, во что им выльется защита Афлисонова и открытое противостояние тренерскому штабу.

В тренерской восседали Сват и Серый. Они воочию вершили судьбами «волков». А Ломоть, значит, заочно. Главного тренера там не было. Этого и следовало ожидать.

Сват без обиняков сказал, что контракт с Булей у клуба истёк, большое спасибо за вклад в дело развития хоккея в республике и её столице, за бессменные годы в команде...

– Ясно, – прервал благодарственный поток Булатов. – Но я одного не пойму...

– Чего? – насторожился Сват. Всё-таки перед ним был не какой-то вчерашний юниор-пришелец, а воспитанник местного хоккея, ставший лидером «волков», любимый болельщиками и журналистами, почитаемый президентом клуба Буля, лучший бомбардир лиги, олимпийский чемпион Равиль Булатов, чёрт его побери! Да ещё капитан. Однако в сложившейся ситуации пасовать нельзя было, кто, в конце концов, руководит коллективом – директор, главный тренер или игрок? Вопрос принципиальный, и без хирургического вмешательства его не решить. Надо же, великовозрастный спортсмен на излёте своего контракта единолично срывает решение руководства клуба! Дурной пример заразителен. Ему сразу последовали неблагонадёжные. И большинство, понятное дело, из местных.

Это же бунт на корабле, это вопрос жизни и смерти, и его надо снимать с повестки дня, пока не поздно. Естественно, шлейф потянется... Но другого выхода нет. Что касается президента клуба, то ему теперь не до «волков», не до зоопарка этого, чей контингент давно пора обновлять, да и сам он со дня на день, как говорят надёжные источники, должен смениться. Ничто не вечно под луной. Никто не прописан в хоккее бессрочно, кроме, может быть, чернорабочих клуба, таких, например, как он, Сватов Геннадий Васильевич.

Так приблизительно размышлял гендиректор клуба. Но и про себя, даже в уме, наверное, он не проговаривался о том, что каждое освобождённое место в команде, почти каждая

новая закупка на это место приносят ему лично немалые доходы. (Инвентарь – клюшки, «ракушки»... – это само собою, но живой товар – совсем другое дело...) Каким образом? Очень просто. Приглашённый хоккеист даёт согласие на оговоренную сумму, подпись же ставит в расходном кассовом ордере под цифирью гораздо завышенной. Какая ему разница? Откат есть откат. Своё-то он всё равно получит. Правда, не к каждому с такой идеей подъедешь. Но тут надо быть психологом и иметь дифференцированный подход. Есть и другие формы перераспределения денежной массы. Например, можно закупить игрока, перечислив деньги на свою посредническую фирму... Формы распила шаровых бабок постоянно меняются, мимикрируют, но не меняются по существу. Разумеется, прибыль не только в его карман идёт, приходится делиться. Тому, другому... Мало ли посвящённых дармоедов вокруг! Главному тренеру? Этому Ломтеву? Так ему больше авторитет нужен, моральный вес необходим, который деньгами не измеришь, ему надо держать команду в ежовых рукавицах и побеждать, чему, собственно, и способствует в данный момент генеральный менеджер.

– Что ты не поймёшь? – напряжённо переспросил Сват.

– Не пойму, откуда в вас всех столько гадости? Понятно, я вам с Ломтевым мешаю, задержался слишком в команде, заигрался, поперёк руководства влияю на ребят, но зачем отыгрываться ещё на других? Мухин, Хакимов, Кирилл Ясаков – они ведь здесь выросли, хоккеистами стали. Хотя,

что говорить, когда тебе это напрямую выгодно! Ты же за это чистоганом получаешь. – Булатов сделал понятный жест большим и указательным пальцами. – Опять материальную помощь оказать себе решил? А что тем самым разоряешь наш кровный хоккей, губишь нашу хоккейную школу, тебе и дела нет.

Сват сидел, вытаращив глаза, второй подбородок его нервно подрагивал.

– Чё ты несёшь! – подал голос в защиту директора Серый. Малоразговорчивого Булю и в самом деле несло:

– Плевать вам на своих. Кому из вас нужны их перспективы! Главное – себя обезопасить. Ведь клубные наши ненароком проболтаться могут. У них тут отцы-матери, родственники, друзья... Чуть что – такое завариться может! Вот и избавляйтесь от них под сурдинку.

– Думай, чё говоришь-то! – опять встрял Серый.

Презрительно Буля глянул на обоих разом и, не удостоив ответа, вышел из душевной комнаты.

Он вернулся домой, когда мы ещё спали. Мы – это Верста и я. Накануне вслед за «Шалашом» последовала весёлая «Абхазская кухня» с шашлыками, красными винами и чаёй, после которой Каша с Леной распрощались с нами, а мы ещё Тагира-кузнеца проведали у него в мастерской (ничего он там, оклемался, сидел – вино какое-то тянул с Амстердамом и его новой подругой), затем, пообщавшись вво-

лю (особенно Верста был в ударе) вернулись туда, откуда утром уехали. Дома у себя и Буля, после сухих, в смысле безалкогольных – за рулём же – «Шалаша», «Абхазской кухни» и т. д., позволил себе разговеться. Но был он несколько рассеян и задумчив. Зато мы с Бориской беспрерывно болтали и веселились. Я заводил поэта насчёт его бомжацкой сущности, а он отвечал, что бомжи самые свободные люди на свете. Они, как птички божьи, порхают по жизни, тихо кормятся зёрнышками бесхозными с земли и никому не мешают. Похоже, зря я на него поначалу бочку катил, интересный всё-таки мужик.

А утром болела голова. Она сильнее разболелась, когда Буля, вернувшись из Ледового дворца, поведал, что он больше не хоккеист. Я был уже в курсе проблемы, и объяснять мне особо не надо было. Меня, чтобы составить полноценную картину случившегося, интересовали конкретные вещи: кто, что и как сказал.

Буля нехотя, но под моим давлением подробно изложил произошедшее там, в душной тренерской комнате. А когда он оттуда вышел, Мухи в Ледовом дворце уже не было, умотал в неизвестном направлении и мобильник свой отключил. Зато появился Каша. Были там ещё несколько ребят, те же Шток с Хакимом. И когда выяснилось, что из семи бунтарей, не подписавших петицию, не подвергся репрессии лишь Кашапов с финном Юккой, то он, Каша, шпана вятская, рванулся, не раздумывая, к тренерской, чтобы навести

порядок и справедливость. Кое-как остановили. Интересно, чем руководствовался тренерский штаб, оставляя в команде необузданного, непредсказуемого дебошира Кашу? Не действующим же контрактом.

Но нет, Каша в команде, несомненно, фигура мощная. А Буля? Лучший бомбардир, безусловный лидер... Уму не постижимо!

Я сказал другу:

– Свет клином на «Белых Волках» не сошёлся. Тебя же куда только не зазывали!

На что Буля ответил:

– Баста, всё, больше я не хоккеист!

– Не «волк», – хотел я поправить.

– Не хоккеист, – повторил он, взял хрустальный графинчик с хрустальной прозрачности содержимым, попросил меня достать рюмочки, которые были ко мне поближе. Я достал из серванта три хрустальные ёмкости на высоких ножках, поставил на стол.

– Две достаточно, – сказал Буля. – Борису не надо. Он с сегодняшнего дня новую жизнь начинает. Такой у нас уговор. Точно, Борь?

– О-хо-хо! – только и вздохнул наш гость в ответ.

Глава четвёртая

29. У самовара

В редакционном кабинете два больших письменных стола. Один для работы авторучкой над текстами, для чтения, общения по телефону и без, непосредственно с посетителями, на нём рукописи, журналы, на краю, над перекидным календарём, – частокол карандашей, фломастеров, то там, то тут – записные книжки, разноформатные листочки с именами и номерами телефонов... в общем, ни сантиметра свободной поверхности. Другой приспособлен под компьютерную технику. Здесь уже прямая противоположность – блеск и чинный порядок. Ещё два стола в кабинете можно назвать журнальными или, точнее, вспомогательными. За одним из них, что с электрическим самоваром, и приютились Равиль Булатов с Лили. Они неспешно разговаривали, точно старинные друзья, хотя она тут была, как понимаете, полной неожиданностью.

– Озябла, – сказала Лили, поправляя гребёнкой слегка покрасневших пальцев пшеницу волос и поглядывая в окно, в котором сиял солнечный морозный день, с зыбкими дрожащими парами на синем холсте неба.

– Попей горячего чаю, сразу согреешься, – посоветовал

Булатов. – Вот пряники, они с орешками, вкусные.

Лили послушно – губы трубочкой – потянула, обжигаясь, горячий напиток из снежной белизны чашки на блюдечке, окинула взглядом кабинет – шкаф с книгами, стены с картинами в два ряда...

– Удивительно, – сказала она.

– Что удивительно? – переспросил Булатов.

– Ни одной картины на спортивную тему.

– И правда!

На одном из живописных полотен она задержала взгляд.

– Зима тут – совсем как сегодня за окном. Чудесная работа!

– Друга моего! – похвалился Буля.

Оторвав взгляд от картины, она спросила:

– Куда вы пропали-то на катке тогда? Искала, искала, так и не нашла.

– Ты же подружек своих встретила. А потом, помнишь, такой снег повалил, и я потерял тебя.

– А я подумала, избавились от случайно свалившейся на вашу голову обузы, вот и обрадовались. Откуда эта Ксюшка-болтушка, подруга моя школьная, на катке взялась? В жизни туда не заносило!

– Странно, я тоже встретил там друга. И тоже ещё со школьной поры.

– Чудесный выдался каточек в тот вечер! – Лили встряхнула белокурыми, слегка выющимися волосами, и они рас-

сыпались по её худеньким плечам в вязаной светло-бежевой кофточке, поверх которой ниспадал на грудь такой же светлый шарфик. Да и вся она была светлая, лучистая, даже румянец, с новой силой вспыхнувший в тёплой комнате, излучал какую-то чистую, лёгкую радость. Она убрала непослушную прядь со лба и сказала: – Согрелась. А вообще, зиму почему-то больше люблю, хоть и замёрзла вот на остановке.

– Почему?

– Троллейбуса долго не было.

– Нет, почему именно зиму любишь?

– Не знаю, – пожалала она плечами. – Зимой я как-то собраннее.

– Странно.

– Не знаю, – повторила она, взяла пряник, отколупнула ноготком орешек. – Все вокруг поголовно лето любят и ждут не дождутся его. Я – нет. Сейчас вот, в январе, и снег светится, гляньте в окно. И дышится легче. А весной мне тающего снега жалко бывает. Месяц за месяцем зима копит снег в свои сугробы, и вдруг приходит время, и всё добро, все её сияющие драгоценности погибают, превращаются в грязь. Какой смешной кактус! – Девушка подошла к подоконнику. Длинные ноги, плотно упакованные в джинсы, тонкая, гибкая спина, в ушке маленькая золотая серёжка... Потрогала пальчиком единственное растение в комнате. – Ой, колет-ся!.. И потом, – заключила она свою мысль, – когда же, как только не зимою, можно согреться таким вот замечательным

горячим чаем!

– Что верно, то верно, – согласился гостеприимный хозяин.

Из задумчиво-заторможенного состояния его вывел телефонный звонок. Он быстро поговорил, хотел было вернуться на место, но позвонили опять.

– Я отвлекаю? – спросила гостья, когда Булатов вернулся к журнальному столику.

– Нет, – ответил он живо, – это звонки отвлекают. Они же каждый день и постоянно.

– А я впервые... – Дальше она не смогла подобрать соответствующих слов и, опустив глаза на свою чашку, несмело сказала: – Я, собственно, по делу.

– Серьёзно? – с напускной весёлостью после заторможенности у самовара и ускоренности у телефона произнёс Буля. – А я думал, так просто, нового знакомого повидать, погреться, а то по делу да по делу все. Кстати, как ты меня нашла?

– Я и точно погреться, – ответила на не последнюю фразу гостья. – Спасибо... – Она допила чай.

Чемпион понял, что его немного занесло.

– Нет, я не в том смысле... – Он воткнул штепсель в розетку электросети. Самовар мгновенно загудел. – Что за дело? Если могу чем помочь – пожалуйста. Ещё горяченького?

Она подождала, когда расторопный хозяин наполнит её чашку кипятком, и начала, неторопливо помешивая чайной

ложкой:

– Я уже говорила, что очень люблю хоккей. Помните, на катке? Просто объяснить не могу – как! Одно лишь появление хоккеистов на разминке перед началом игры на чистой, нетронутой глади льда, первые линии, узоры за их коньками на этом волшебном зеркале меня уже не знаю, как волнуют. А уж когда обе команды выкатываются на игру, и начинается бой, то я вообще позабываю всё на свете. Этот скрежет коньков, стук клюшек, щелчки, треск бортов и косточек хоккеистов – да, да, я и это, похоже, слышу! – этот девятый вал трибун, судейские трели... Они и во сне преследуют меня. Но вся несправедливость в том, что хоккеистом стать я не могу. – Она подняла на Булатова свои пронзительно зелёные глаза. – Никогда. Вы понимаете меня?

– Да, – ответил чемпион мира и Олимпийских игр, – понимаю. Но что делать?

– Статьи, очерки писать. Я хочу писать о хоккее и хоккеистах и тем самым быть в нём, в хоккее. Вот вы же теперь как журналист пишете о «Белых Волках» и как бы с командой не расстались.

– Вот именно «как бы».

– Простите. Я имею в виду, варитесь в тех же проблемах, встречаетесь с теми же людьми, помогаете им печатным словом.

– Хорошо, – прервал вдохновенную тираду Булатов, – в данный момент, как я понимаю, не обо мне речь. Итак, ты

хочешь...

– Да, я тоже хочу писать и печататься.

– Что ж, надо попробовать. У меня как раз есть одна подходящая тема. О детском хоккее. Но для начала расскажи немного о себе: кто ты, что ты, где учишься?

– Это так важно?!

– Мне же надо хоть немного знать, с кем предстоит играть в одном звене... Как ты думаешь?

30. Стиль диктует содержание

В своей рукописи я называю своего друга то Булатов, то Буля, то по имени, то одним отчеством обхожусь... Долгое время сам не понимал, почему у меня это происходит. Чувствовал лишь, что разноимённость моих персонажей ведёт к разноликости, что разные имена ищут себе соответствующие контексты и многое другое. Но писал, как писалось. В общем-то, и сейчас так строчу. Но, пораскинув однажды мозгами, я пришёл к гениальному для себя выводу: стиль диктует содержание. Вот так, коротко, как отрезано. Стиль диктует и содержание, и поведение героев, и их имена-прозвища... Мысль можно развернуть в целый трактат, но не буду, раз, как отрезано. Скажу лишь, если наоборот, если содержание берёт верх над стилем, то это уже не художественное произведение.

Свою эту мысль я отношу не только к литературе, живо-

писи, музыке и другим видам искусства. Наглядный пример. Один мой старший приятель, вдовец, по широте душевной, то есть в согласии со стилем жизни, оставил свою квартиру женившемуся сыну, а сам пошёл к женщине, с которой решил связать остаток жизни. Хорошая была тётка (мужа у неё никогда не было, а сыночек был), однако не получилось у них совместной жизни. Она не привыкла, не умела жить с мужиком, а он каждый шаг её сравнивал со своей первой женой, и та, покойная, получалась во всём лучше. В результате, он оказался на улице. Первое время, пока деньги были, гостил у родственников, друзей, потом стал пить, потерял работу и превратился в стопроцентного бомжа. Про долю в сыновней квартире, скажете? Да, пробовал вернуться. На пару дней. На больше не получилось. Эти его новые домочадцы – невестка, сваха... Да и сыночек родной сам по себе среди них каким-то уже не тем стал. Но главное, он не мог ради самоустройства, ради означенного содержания изменить стиль своего поведения, перешагнуть через свои принципы, которые с молоком матери были настоены на таких понятиях, как честь, достоинство... Судиться, что ли, с родным сыном? Сказал: «Честь имею!» – и был со своей честью таков.

Дальше не совсем о форме и содержании.

Как-то стал я вспоминать, когда же мой друг, Равилька Булатов, превратился для меня, как и для многих, в Булю? В начальных классах им он ещё не был. Это точно. И память выдала мне полную информацию: с первых шагов хоккейной

карьеры. Его в спортивной школе, в детской команде стали так называть. И это прозвище со временем перешагнуло бортики хоккейных коробок.

Потом заметил ещё одну закономерность. В реальной жизни, не на бумаге, Булей я его не называю. А вот в повествовании моём получается иначе. Стиль диктует...

Впрочем, опять двадцать пять. На чём мы остановились?

– Разве так важно, где человек учится! – продолжала недоумевать Лили. – Я вон в газете прочитала: один питерский поэт и восьми классов не закончил, а стал лауреатом Нобелевской премии, преподавал в американских университетах и задавал для прочтения такие объёмы литературы, что его студенты, уже сами с усами, читая другим лекции, всё ещё не могли справиться с заданием.

– Я совсем не о том, – развёл руками Буля.

В комнату заглянул маленький, полулысый молодой человек (напомню – заместитель главного редактора, звать Марсель Альфредович, в народе же, стало быть, кратко и просто – Чинарик). Ему всё надо знать, при всём присутствовать. Сперва блеснул в дверях своей обширной заплешинной, затем, слово за слово, продвинулся к письменному столу номер один (заваленному бумагами), надсел на его выступающую крышку задом и стал расспрашивать Булю о какой-то внутренней редакционной чепухе, ненароком поглядывая на юную и белокурую, непочтительно склонившуюся при раз-

говоре корифеев журналистики над дешёвым спортивным журнальчиком.

Расспрашивая, Марсель Альфредович надавил на кнопку радиоприёмника, который у Були занимал место на подоконнике, рядом с кактусом. Спортивный обозреватель по нему обычно новости слушал, а тут полилась песня. Марсель Альфредович примолк, прислушался к английским словам и повторил за певцом:

– Ай эм блю, ай эм блю... – Прокомментировав: – Нашёл чем хвастать: я голубой, я голубой!.. Взяли в моду свою нетрадиционную ориентацию на показ выставлять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.